# ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

*Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.*

## СКОТНЫЙ ДВОР. ЭССЕ

эксклюзивная классика

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

В книгу включены не только легендарная повесть-притча Оруэлла «Скотный Двор», но и эссе разных лет – «Литература и тоталитаризм», «Писатели и Левиафан», «Заметки о национализме» и другие.

Что привлекает читателя в художественной и публицистической прозе этого запретного в тоталитарных странах автора?

В первую очередь – острейшие проблемы политической и культурной жизни 40-х годов XX века, которые и сегодня продолжают оставаться актуальными. А также объективность в оценке событий и яркая авторская индивидуальность, помноженные на истинное литературное мастерство.

- Джордж Оруэлл
  - 
  - Предисловие к украинскому изданию «Скотного Двора»
  - Скотный двор
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
    - Глава IV
    - Глава V
    - Глава VI
    - Глава VII
    - Глава VIII
    - Глава IX
    - Глава X
  - Эссе
    - Литература и тоталитаризм
    - Писатели и Левиафан
    - Политика против литературы. Взгляд на «Путешествия Гулливера»
    - Уэллс, Гитлер и Всемирное государство
    - Заметки о национализме
    - Рецензия на книгу Юджина Лайонса «Командировка в утопию»
    - Рецензия на книгу Ф. Дж. Шида «Коммунизм и человек»
    - Рецензия на книгу Франца Боркенау «Тоталитарный враг»

- Рецензия на книгу Уинстона Черчилля «Их самый славный час»

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32

# Джордж Оруэлл
# Скотный Двор. Эссе
# *(сборник)*

George Orwell
ANIMAL FARM
ESSAYS

© George Orwell, 1945, 1938–1949
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

* * *

# Предисловие к украинскому изданию «Скотного Двора»

[1]

Меня попросили написать предисловие к украинскому переводу «Скотного Двора». Я понимаю, что пишу для читателей, о которых ничего не знаю, да и они, по всей вероятности, ничего не слышали обо мне.

Скорее всего они ожидают, что в предисловии я расскажу о том, как возник «Скотный Двор», но прежде я хотел бы рассказать кое-что о себе и о том, как я пришел к моей теперешней политической позиции.

Я родился в 1903 году в Индии. Мой отец служил там в английской администрации, и семья моя была обычной семьей среднего класса, такой же, как другие семьи военных, священников, правительственных чиновников, учителей, адвокатов, врачей и т. д. Я учился в Итоне, самой дорогой и снобистской из английских за крытых частных школ. Но попал я туда только потому, что получил стипендию, – иначе отцу было бы не по карману отправить меня в такую школу.

Вскоре после ее окончания (мне еще не исполнилось двадцати лет) я отправился в Бирму и поступил в Индийскую имперскую полицию. Это была военизированная полиция, род жандармерии, наподобие испанской Guardia Civil или Garde Mobile во Франции. Я прослужил в ней пять лет. Служба мне не нравилась, и я возненавидел империализм, хотя в то время националистические настроения в Бирме не очень ощущались, и отношения между англичанами и бирманцами были не особенно плохими. В 1927 году, во время отпуска в Англии, я подал в отставку и решил стать писателем. Стал писать, но поначалу без особого успеха. В 1928–1929 годах я жил в Париже, писал рассказы и романы, которые никто не хотел печатать (потом я все их уничтожил). В последующие годы я едва сводил концы с концами и несколько раз голодал. Зарабатывать на жизнь своими писаниями я стал лишь с 1934 года. А до тех пор иногда месяцами жил среди бедной и полукриминальной публики, которая обитает в худших частях бедных районов или промышляет на улицах воровством и попрошайничеством. В то время я общался с ними вынужденно, из-за недостатка денег, но позже их образ жизни очень заинтересовал меня сам по себе. Много месяцев я провел за изучением (на этот раз систематическим) условий жизни шахтеров на севере Англии. До

1930 года я не считал себя социалистом. У меня не было четко определенных политических взглядов. Я стал склоняться к социализму скорее из отвращения к тому, как угнетают и игнорируют беднейшую часть промышленных рабочих, чем из теоретического восхищения плановым обществом.

В 1936 году я женился. Чуть ли не в ту же неделю началась гражданская война в Испании. Мы с женой оба хотели поехать в Испанию и воевать на стороне испанского правительства. Через шесть месяцев, как только я закончил книгу, мы туда отправились. В Испании на Арагонском фронте я провел почти полгода – пока фашистский снайпер в Уэске не прострелил мне горло.

На ранних этапах войны иностранцы, в общем, не знали о внутренних конфликтах между разными политическими партиями, поддерживающими правительство. Благодаря ряду случайностей я вступил не в Интернациональную бригаду, как большинство иностранцев, а в ополчение POUM – то есть испанских троцкистов.

И вот в середине 1937 года, когда коммунисты получили контроль (или частичный контроль) над испанским правительством и начали охоту на троцкистов, мы с женой оказались в числе ее жертв. Нам повезло: мы выбрались из Испании живыми и даже ни разу не были арестованы. Многих наших друзей расстреляли, другие подолгу просидели в тюрьмах или просто исчезли.

Эта охота за людьми в Испании проходила одновременно с большими чистками в СССР и была как бы их дополнением. В Испании и в России обвинения были одни и те же (а именно сговор с фашистами), и, что касается Испании, у меня были все основания считать, что обвинения эти ложные. Это был наглядный урок: он показал мне, насколько легко тоталитарная пропаганда может управлять мнением просвещенных людей в демократических странах.

Мы с женой видели, как ни в чем не повинных людей бросают в тюрьму только потому, что подозревают их в неортодоксальности. Однако по возвращении в Англию мы обнаружили, что множество разумных и хорошо информированных наблюдателей верят в самые фантастические сообщения газетчиков о заговорах, изменах и вредительстве, якобы вскрывшихся на московских процессах.

И я понял яснее, чем когда бы то ни было, до какой степени плохо влияет советский миф на западное социалистическое движение.

Здесь я остановлюсь, чтобы объяснить мое отношение к

советскому режиму.

Я никогда не был в России, и все мои знания о ней ограничиваются тем, что я прочел в книгах и газетах. И будь у меня такая возможность, я все равно не захотел бы вмешиваться во внутренние советские дела: я не стал бы осуждать Сталина и его соратников только за их недемократические и варварские методы. Вполне возможно, что при том положении, в каком находится страна, они не могли вести себя иначе, даже имея самые лучшие намерения.

Но с другой стороны, для меня было крайне важно, чтобы люди в Западной Европе увидели советский режим таким, каков он есть. С 1930 года я не видел почти никаких признаков того, что СССР движется к социализму в истинном смысле этого слова. Напротив, по всем приметам он превращался в иерархическое общество, где у правителей так же мало оснований отказаться от власти, как у любого другого правящего класса. Кроме того, рабочие и интеллигенция в такой стране, как Англия, не могут понять, что сегодняшний СССР сильно отличается от того, чем он был в 1917 году. Отчасти они и не хотят этого понимать (то есть хотят верить, что где-то действительно существует социалистическая страна), а отчасти, привыкнув к сравнительной свободе и умеренности в общественной жизни, просто не могут себе представить, что такое тоталитаризм.

Но надо помнить, что Англия не вполне демократическая страна. Это к тому же страна с большими классовыми привилегиями (и даже сейчас, после войны, которая несколько всех уравняла, с огромным разрывом в доходах). Тем не менее это страна, где люди несколько веков жили, не зная гражданской войны, где законы относительно справедливы, где официальным известиям и статистике почти всегда можно верить и, наконец, где меньшинство может иметь и выражать собственные взгляды, не подвергаясь смертельной опасности. В такой атмосфере обыватель не способен понять, что такое концентрационные лагеря, массовые депортации, аресты без суда, цензура и прочее. Все, что он читает о такой стране, как СССР, автоматически переводится в английские понятия, и он наивно принимает на веру выдумки тоталитарной пропаганды. До 1939 года и даже позже большинство английского народа не имело представления о подлинном характере нацистского режима в Германии, а теперь находится под властью таких же иллюзий насчет советского режима.

Это принесло большой вред социалистическому движению в Англии и серьезно повлияло на английскую внешнюю политику. По моему мнению, ничто так не исказило первоначальную идею

социализма, как вера в то, что Россия – социалистическая страна и всем действиям ее властей надо если не подражать, то находить оправдание.

Так за последние десять лет я убедился, что если мы хотим возродить социалистическое движение, то советский миф должен был разрушен.

Вернувшись из Испании, я решил разоблачить советский миф с помощью истории, которая может быть понятна почти каждому и легко переведена на другие языки. Однако конкретные детали истории мне не давались, пока однажды (я жил тогда в деревеньке) я не увидел мальчика лет десяти, который гнал по узкой тропинке громадную упряжную лошадь и хлестал ее всякий раз, когда она хотела свернуть. Мне пришло в голову, что если бы такие животные осознали свою силу, мы потеряли бы над ними власть, и что люди эксплуатируют животных примерно так же, как богатые эксплуатируют пролетариат. Я стал анализировать теорию Маркса с точки зрения животных. Им ясно, что представление о классовой борьбе между людьми – чистая иллюзия, ибо, когда надо эксплуатировать животных, все люди объединяются против них: подлинная борьба идет между людьми и животными. Отправляясь отсюда, уже нетрудно было сочинить историю. Я не садился ее писать до 1943 года, потому что все время был занят другой работой, не оставлявшей мне времени; а в конце концов включил некоторые события, например, Тегеранскую конференцию, которые происходили, когда я уже писал. Так что основные контуры повести я держал в голове шесть лет, прежде чем взялся за перо.

Комментировать повесть я не хочу; если она не говорит сама за себя, значит, она не удалась. Но хотел бы сделать два замечания: во-первых, при том, что многие эпизоды взяты из реальной истории русской революции, они представлены схематично и хронологический порядок их изменен; этого требовала симметрия повествования. И второе, упущенное из виду большинством критиков, возможно, потому, что я недостаточно это выделил. Кое-кто из читателей может закрыть книгу с впечатлением, что заканчивается она полным миром между свиньями и людьми. Мой замысел был не таков; наоборот, я намеревался закончить на громкой ноте несогласия, потому что дописывал повесть сразу после Тегеранской конференции, закрепившей, как всем казалось, наилучшие отношения между СССР и Западом. Лично я не верил, что такие хорошие отношения сохранятся надолго, и, как показали события, не очень ошибся…

*Март 1947 г.*

# Скотный двор

# Глава I

Мистер Джонс, хозяин Господского Двора, запер на ночь курятник, но про лазы для молодняка спьяну забыл. Фонарь в его руке ходил ходуном, круг света метался из стороны в сторону, когда он, выписывая вензеля, прошел к черному ходу, скинул сапоги, нацедил в кладовке свою последнюю в этот день кружку пива из бочки и залез в кровать, где уже задавала храпака миссис Джонс.

Едва в спальне погас свет, во всех службах послышались шорох и шуршание. Днем прошел слух, что старику Главарю, призовому хряку средней белой породы, прошлой ночью приснился удивительный сон и он хочет рассказать о нем животным. Договорились, как только мистер Джонс уберется восвояси, собраться в большом амбаре. Старика Главаря (его всегда называли так, хотя выставлялся он под кличкой Краса Уиллингдона) на ферме почитали, и все охотно согласились недоспать час, лишь бы послушать его.

В глубине амбара на чем-то вроде помоста под свисающим с матицы фонарем раскинулся на охапке соломы Главарь. Ему стукнуло двенадцать, и хотя за последние годы он огрузнел, но был по-прежнему величав, мудрого и благожелательного облика этой свиньи не портили даже неподпиленные клыки. Вскоре начали стекаться другие животные, они долго возились, стараясь расположиться – каждое на свой лад – поудобнее.

Первыми прибежали три собаки: Ромашка, Роза и Кусай, за ними притрусили свиньи – эти разлеглись перед помостом на соломе. Куры взгромоздились на подоконники, голуби вспорхнули на стропила, овцы и коровы поместились позади свиней и принялись за свою жвачку. Боец и Кашка, пара ломовых лошадей, пришли вместе, они неторопливо пробирались к помосту, долго искали, куда бы ступить, чтобы невзначай не раздавить копытом с косматой щеткой снующую в соломе мелюзгу. Кашка была дебелая сердобольная кобыла не первой молодости, сильно отяжелевшая после четвертого жеребенка. Боец, могутный коняга чуть не двухметрового роста, силой превосходил двух обычных коней, вместе взятых. Из-за белой отметины на храпу он казался глуповатым, да и впрямь умом не блистал, но его почитали за стойкость и неслыханное трудолюбие. Вслед за лошадьми прискакали белая коза Мона и ослик Вениамин. Вениамин был старше всех на ферме годами и хуже всех нравом. Он больше помалкивал и молчание нарушал, только чтобы отпустить какое-нибудь циничное замечание – к

примеру, заявлял, что Господь Бог дал ему хвост, чтобы отгонять мух, но он лично обошелся бы без хвоста и без мух. Он один из всей скотины на ферме никогда не смеялся. И если у него допытывались почему, отрезал: не вижу, мол, повода. При всем при том он был предан Бойцу, хотя никак этого не выказывал, и по воскресеньям они обычно паслись бок о бок в загончике за садом, щипали траву, но разговаривать не разговаривали.

Едва лошади улеглись, как в сарай гуськом прошествовал выводок отбившихся от матери-утки утят, они слабо попискивали и шныряли из стороны в сторону, выискивая местечко, где бы на них не наступили. Кашка огородила их передней ногой, они отлично устроились за ней и тут же заснули. В последнюю минуту, жеманно семеня и хрупая куском сахара, явилась серая кобылка Молли, хорошенькая дурочка, возившая дрожки мистера Джонса. Она расположилась поближе к помосту и тут же принялась потряхивать гривой – ей не терпелось похвастаться вплетенными в нее красными лентами. Послед ней пришла кошка, огляделась по сторонам, привычно выбирая местечко потеплее, в конце концов втиснулась между Бойцом и Кашкой и блаженно замурлыкала – речь Главаря от начала до конца она пропустила мимо ушей.

Теперь в амбар сошлись все, за исключением ручного ворона Моисея – он дремал на шестке у черного хода. Когда Главарь убедился, что животные удобно поместились и настроились слушать, он откашлялся и начал свою речь:

– Товарищи! Как вам известно, минувшей ночью мне приснился удивительный сон. Но я перейду к нему попозже. Сначала я хочу с вами поговорить о совсем других вещах. Я думаю, товарищи, что вскоре я вас покину, поэтому считаю своим долгом перед смертью поделиться с вами накопленной мудростью. Я прожил долгую жизнь, пока лежал один в своем закуте, многое успел обдумать и, по-моему, с полным правом могу сказать, что понимаю, как устроена жизнь на земле, не хуже любого другого животного из ныне здравствующих. Вот об этом-то я и хочу с вами поговорить.

Так вот, товарищи, как устроена наша жизнь? Давайте смотреть правде в глаза. Нищета, непосильный труд, безвременная смерть – вот наш удел. Мы появляемся на свет, мы получаем ровно столько корма, чтобы не умереть с голода, а рабочий скот еще и изнуряют работой, пока не выжмут из него все соки, когда же мы больше ни на что не годны, нас убивают с чудовищной жестокостью. Нет такого животного в Англии, которое не распростилось бы с досугом и радостью жизни, едва ему стукнет год. Нет такого животного в Англии, которое не было

бы закабалено. Нищета и рабство – вот что такое жизнь животных, и от этого нам никуда не уйти.

Но разве таков закон природы? Но разве страна наша так бедна, что не может прокормить тех, кто в ней живет? Нет, товарищи, нет, нет и еще раз нет. Земля Англии обильна, климат ее благодатен, и, кроме нас, она способна прокормить досыта еще многих и многих. Одна наша ферма могла бы содержать дюжину лошадей, два десятка коров, сотни овец, и все они жили бы привольно и достойно, так, как нам и не снилось. Почему же тогда мы влачим это жалкое существование? Да потому, что плоды нашего труда присваивают люди. Вот в чем причина всех наших бед. Если определить ее коротко – она в человеке. Человек – вот кто наш истинный враг. Если мы уберем человека, мы навеки покончим с голодом и непосильным трудом, ибо человек – их причина.

Из всех живых существ один человек потребляет, но ничего не производит. Он не дает молока, не несет яиц, его нельзя запрячь в плуг, потому что он слишком слаб, ему не поймать кролика, потому что он не умеет быстро бегать. Все так, и тем не менее он властвует над нами. Он заставляет нас работать на себя, забирает плоды наших трудов, нас же самих кормит впроголодь. Нашим трудом обрабатывается земля, нашим навозом она удобряется, а что у нас есть? Ничего, кроме своей шкуры. Вот вы, коровы, сколько литров молока вы дали за последний год? И куда пошло это молоко, которым вы могли бы вспоить крепких телят? Его все, до последней капли, выпили наши враги. Вот вы, куры, сколько яиц вы снесли за этот год и из скольких яиц вылупились цыплята? Куда же пошли остальные? Их продали на рынке Джонс и его работники, чтобы выручить деньги для себя. Вот ты, Кашка, где твои жеребята, четверо жеребят, твоя надежда и опора в старости? Их продали одного за другим, едва им стукнул год, и ты никогда больше их не увидишь. Тяжело они тебе достались, тяжело ты работала в поле, и что же ты получила взамен – скудный паек, место в деннике, и больше ничего!

Но даже это жалкое существование обрывают до времени. Мне грех жаловаться, мне повезло. Мне пошел тринадцатый год, четыреста поросят родились от меня. Так природа определила жить хряку. Но нет такого животного, которого в конце жизни не настиг бы беспощадный нож. Вот вы, подсвинки, не пройдет и года, и вы все до одного, отчаянно вереща, проститесь с жизнью на колоде. Всех вас – коров, свиней, кур, овец, всех-всех ждет этот страшный конец. Даже лошадей, даже собак и тех он не минует. Вот ты, Боец, в тот самый день, когда и тебя, такого могучего, покинут силы, Джонс сбудет тебя живодеру, и тот перережет тебе

горло и пустит на корм гончим. Собакам же, когда состарятся и обеззубеют, Джонс привяжет кирпич на шею и утопит в ближайшем пруду.

Неужели вам еще не ясно, товарищи, что причина наших бед – гнет людей? Если скинуть человека, никто не будет присваивать плоды нашего труда. Назавтра же мы освободимся от нищеты и бесправия. Итак, что делать? Работать день и ночь, не щадя сил, и свергнуть людское иго! Восстание, товарищи! – вот вам мой завет. Я не знаю, когда разразится восстание – через неделю или через сто лет, но уверен, точно так же как уверен в том, что стою на соломе, рано или поздно справедливость восторжествует. Всю свою, хоть и недолгую, жизнь положите, чтобы приблизить ее! А главное – донесите мой завет до тех, кто придет вам на смену, и пусть грядущие поколения доведут борьбу до победного конца.

И главное, товарищи, будьте стойкими. Не дайте увлечь себя с пути борьбы никакими доводами. Не слушайте, если вам будут говорить, что у человека и скотины общие цели, что их процветание неразрывно связано. Все это вражеские происки. Человек преследует свои, и только свои интересы. И да будет наше единство в борьбе, наше товарищество нерушимо! Все люди – враги. Все животные – товарищи.

Тут поднялась страшная кутерьма. Четыре здоровенные крысы – речь Главаря выманила их из нор, – усевшись на задние лапки, внимали ему. Но дослушать речь до конца им не удалось – они попались на глаза собакам, и, не юркни они в норки, не сносить бы им головы. Главарь поднял ножку, призывая к молчанию.

– Товарищи, – сказал он, – есть один пункт, который следует уточнить. Дикие твари: крысы или, скажем, кролики, – друзья они нам или враги? Давайте проголосуем: кто за то, что крысы друзья?

Тут же состоялось голосование, подавляющим большинством голосов постановили считать крыс товарищами. Против голосовало всего четверо: три собаки и кошка, правда, потом обнаружилось, что она голосовала и «за», и «против». А Главарь продолжал:

– Моя речь близится к концу. Хочу только повторить: никогда не забывайте, что ваш долг – бороться с человеком и всем, что от него исходит. Всякий, у кого две ноги, – враг. Всякий, у кого четыре ноги, равно как и тот, у кого крылья, – друг. Помните также: в борьбе против человека неуподобляйтесь ему. Даже победив его, не перенимайте его пороков. Не живите в домах, не спите на кроватях, не носите одежды, не пейте спиртного, не курите, не занимайтесь торговлей, не берите в руки денег. Все

людские обычаи пагубны. А главное – ни одно животное не должно угнетать другого. Слабые и сильные, хитроумные и недалекие, – все мы братья. Ни одно животное не должно убивать другого. Все животные равны.

А теперь, товарищи, я расскажу вам о том, что за сон приснился мне прошлой ночью. Описать его вам я не берусь. Мне снилось, какой станет наша земля, когда человек исчезнет с ее лица. Сон этот воскресил в моей памяти одно воспоминание. Давным-давно, когда я был еще поросенком, моя мать вместе с другими свиньями певала одну старинную песню: помнили они из нее лишь мотив и первые три слова. В детстве я знал этот мотив, но он уже давно выветрился из моей памяти. А прошлой ночью во сне я его вспомнил, мало того, я вспомнил и слова этой песни, слова, которые, я уверен, пела скотина в незапамятные времена, но потом они были забыты, и вот уже несколько поколений их не знают. А сейчас, товарищи, я спою вам эту песню. Я стар, голос у меня сиплый, но я хочу обучить вас ей, а уж вы будете петь ее как следует. Называется она «Твари Англии».

Старый Главарь откашлялся и запел. Голос у него и верно был сиплый, но пел он неплохо. И мотив, помесь «Клементины» и «Кукарачи», брал за сердце. Вот эта песня:

Твари Англии и твари
Всех земель, какие есть,
О земном грядущем рае
Принимайте, твари, весть!

Твари, будете счастливы,
Будет свергнут человек,
Будут все луга и нивы
Тварям отданы навек.

Мы кольцо из носа вынем —
Наша все-таки взяла!
Кнут сломаем, упряжь скинем,
Заржавеют удила!

Может, ждать придется долго,
Но пшеница и ячмень,
Сено, и бобы, и свекла —
Будут наши в этот день!

Станут чище наши воды,
Станет ярче всходов цвет,

Слаще воздуха свободы
Ничего для твари нет.

До свободы путь-дорога
Далека – не все дойдут;
Гуси, лошади, коровы,
Отдадим свободе труд.

Твари Англии и твари
Всех земель, какие есть,
О земном грядущем рае
Принимайте, твари, весть![2]

Животные пришли в неистовое возбуждение – так потрясла их эта песня. Не успел Главарь допеть песню до конца, как они тут же подхватили ее. Даже самые тупые усвоили мотив и отдельные слова, но самые из них умные, то есть свиньи и собаки, через несколько минут знали песню наизусть от первого до последнего слова. И, прорепетировав раз-другой, вся ферма как один дружно грянула «Твари Англии». Каждый пел на свой лад: коровы мычали, собаки лаяли, овцы блеяли, лошади ржали, утки крякали. Песня так легла животным на сердце, что они пропели ее пять раз кряду и, наверное, пели бы всю ночь напролет, если бы их не прервали.

На беду, шум разбудил мистера Джонса – он вскочил с постели, решив, что во двор прокралась лисица. Схватил ружье, которое держал на всякий случай в углу, и выстрелил дробью в воздух. Дробины врезались в стену амбара, и собрание мигом расточилось. Все разбежались по своим местам. Куры взобрались на насесты, животные улеглись на солому, и вскоре вся ферма погрузилась в крепкий сон.

# Глава II

А через три дня старый Главарь мирно отошел во сне. Его похоронили в дальнем конце сада.

Он умер в начале марта. В следующие три месяца животные вовсю развернули подпольную работу. У тех, кто поумнее, речь Главаря произвела полный переворот во взглядах. Они не знали, когда сбудется предсказание Главаря, не надеялись, что восстание совершится при их жизни, но твердо знали: их долг – подготовить его. Задачу обучить и организовать животных возложили, конечно же, на свиней. Среди животных они слыли самыми умными. Среди них резко выделялись два молодых хряка Обвал и Наполеон, которых мистер Джонс откармливал на продажу. Наполеон, крупный, свирепого вида беркширский хряк, единственный на ферме беркшир, был немногословен, зато отличался невероятным упорством в достижении цели. Обвал был более живого нрава и куда более речистый и находчивый, но, по общему мнению, уступал Наполеону в силе характера. Кроме них, хряков на ферме не держали, одних подсвинков. Из них самым приметным был жирный подсвинок по имени Стукач, кругломордый, юркий, с бегающими глазками и визгливым голосом. Оратор он был каких мало: когда ему требовалось доказать что-нибудь труднодоказуемое, у него была манера вертеться вьюном, крутить хвостиком, и это почему-то убеждало. О Стукаче говорили, что ему ничего не стоит выдать черное за белое.

Вот эти-то трое и развили учение старого Главаря в стройную философскую систему и назвали ее «скотизмом». Чуть не каждую ночь, когда мистер Джонс засыпал, они тайно сходились в амбаре и разъясняли основные положения скотизма остальной скотине. Невозможно передать, с какой тупостью и равнодушием они столкнулись на первых порах. Кое-кто говорил, что они обязаны хранить верность мистеру Джонсу, и называл его не иначе как хозяин, а то и допускал незрелые высказывания такого рода: «Мистер Джонс нас кормит. Без него мы подохнем с голоду». Кое-кто задавал вопросы другого рода: «Какое нам дело, что станется после нашей смерти?» или «Если восстание все равно произойдет, какая разница, будем мы на него работать или нет?» Свиньи потратили немало труда, пока убедили, что подобные высказывания несовместимы с духом скотизма. Но самые глупые вопросы задавала Молли, серая кобылка. Ее первый же вопрос Обвалу был: «А после восстания сахар у нас будет?»

– Не будет, – отрезал Обвал. – Мы не можем производить

сахар. И вообще, зачем тебе сахар? Ты получаешь вдоволь овса и сена.

– А ленты в гриве можно будет носить? – спросила Молли.

– Товарищ, – сказал Обвал, – эти ленты, которые тебе так любы, символ рабства, вот что они такое. Разве свобода не дороже лент?

Молли согласилась, но без особой уверенности.

А вот опровергнуть выдумки, которые распускал ручной ворон Моисей, свиньям оказалось еще труднее. Моисей, любимец мистера Джонса, был ябедник и наушник, зато умел заговаривать зубы. Он уверял, что есть некий таинственный край, где текут молочные реки с кисельными берегами, туда после смерти отправятся все животные. Край этот, говорил Моисей, на небе, прямо за облаками. Там всю неделю, что ни день, воскресенье, круглый год не переводится клевер, а кусковой сахар и льняной жмых растут прямо на изгородях. Животные терпеть не могли Моисея: он плел небылицы и целый день бездельничал, но некоторые верили в молочные реки и кисельные берега, и свиньям стоило невероятных трудов убедить их, что такого края нет и в помине.

Самыми преданными последователями свиней оказались ломовые лошади – Боец и Кашка. Они ничего не могли придумать самостоятельно, но, раз и навсегда признав свиней своими учителями, буквально впитывали каждое их слово и доходчиво передавали другим животным. Они не пропускали ни одного подпольного собрания в амбаре и первыми запевали «Твари Англии», которыми неизменно завершались собрания.

Восстание осуществилось и раньше, и легче, чем они ожидали. Мистера Джонса, хозяина хоть и крутого, но умелого, в последние годы преследовала неудача за неудачей. Он потерял много денег в тяжбе, пал духом, пристрастился к выпивке. И целые дни напролет просиживал в кресле на кухне, читал газеты, потягивал пиво и подкармливал Моисея размоченными в пиве корками. Работники у него обленились, поворовывали, поля заросли сорняками, крыши прохудились, изгороди покосились, скотину недокармливали.

Наступил июнь – пора сенокоса. В канун Иванова дня – он пришелся на субботу – мистер Джонс уехал в Уиллингдон и так нагрузился в «Красном льве», что вернулся только к обеду в воскресенье. Работники с утра пораньше подоили коров и отправились охотиться на зайцев, а задать корму животным и не подумали. Сам мистер Джонс по возвращении за дремал на диване в гостиной, прикрыв лицо «Ньюс оф уорлд»; вот и вечер наступил, а животным так никто и не задал корму. Наконец их

терпение лопнуло. Одна корова выбила рогами дверь житницы, животные кинулись к сусекам и – давай хватать зерно. Тут они и разбудили мистера Джонса. Минуты не прошло, а он вместе с четырьмя работниками ворвался в житницу, и по спинам животных загуляли кнуты. Такого оголодавшие животные не могли снести. И, не сговариваясь, все, как один, ринулись на своих угнетателей. На Джонса и работников со всех сторон посыпались пинки и удары. Животные вышли из повиновения. Ничего подобного люди никогда не видели, и этот неожиданный бунт тех самых животных, которых они как только не притесняли и не колотили, перепугал их до потери сознания. Они попробовали было отбиваться, но через минуту-другую пустились наутек. И вот уже все пятеро опрометью мчались по проселочной дороге к большаку, а скотина, торжествуя, гналась за ними следом.

Миссис Джонс выглянула в окно, увидела, что творится, побросала кое-какие вещички в саквояж и задами убежала с фермы. Моисей соскочил с шестка и, громко каркая, пошлепал за ней. Тем временем животные выгнали Джонса с работниками на дорогу и за хлопнули за ними тесовые ворота. Они еще не успели понять, что произошло, а восстание уже свершилось, Джонс был изгнан, и Господский Двор отошел к ним.

Поначалу они не поверили своему счастью. И перво-наперво в полном составе галопом обскакали все межи – уж очень им хотелось удостовериться, что на ферме не осталось и следа людей; потом помчались назад, к службам, – уничтожить следы ненавистного владычества Джонса. Разнесли сбруйницу, пристроенную к торцу конюшни; мундштуки, трензеля, собачьи цепи, страшные ножи, которыми мистер Джонс легчил поросят и ягнят, побросали в колодец. Вожжи, недоуздки, шоры, гнусные торбы швырнули на груду тлеющего во дворе мусора. Туда же полетели и кнуты. Когда кнуты занялись огнем, животные за прыгали от радости. Обвал отправил в огонь и ленты, которые вплетали лошадям в гривы и хвосты по базарным дням.

– Ленты, – объявил он, – приравниваются к одежде, а одежда – один из признаков человека. Все животные должны ходить голыми.

Слова его произвели такое впечатление на Бойца, что он принес соломенную шляпу, которая летом спасала его от назойливых мух, и тоже швырнул в костер.

Вскоре было уничтожено все, что напоминало о мистере Джонсе. После чего Наполеон повел животных в житницу и выдал каждому по двойной пайке зерна, а собакам – по две галеты. Потом они спели «Твари Англии» от начала до конца семь раз

кряду, улеглись спать, и никогда в жизни им не спалось так хорошо.

Проснулись они по привычке на заре, сразу вспомнили, какие замечательные перемены произошли в их жизни, и дружно рванули на выгон. Чуть подальше на выгоне вздымался взгорок, с которого была видна как на ладони чуть не вся ферма. Животные взобрались на него и при ярком утреннем свете огляделись во круг. Все здесь, куда ни кинь взгляд, отошло к ним! Как тут не восхититься, как не разгорячиться, и уж они резвились, уж они бесились! И катались по росе, и ели до отвала сладкую летнюю траву, и подкидывали в воздух комья черной земли, и вдыхали ее сытный запах. Они дотошно осмотрели всю ферму; онемев от восторга, глядели они на пашни, луга, сад, пруд, рощицу, смотрели так, словно видели их впервые, и не могли поверить, что ферма отошла к ним.

Потом гуськом двинулись на подворье и в молчании остановились перед хозяйским домом. И хотя дом тоже отошел к ним, войти в него они робели. Но Обвал и Наполеон быстро побороли нерешительность, навалились на дверь, взломали ее, и животные по одному, осторожно ступая из опасения как бы чего не повредить, потянулись в дом. На цыпочках переходили они из комнаты в комнату, говорили приглушенными голосами, с трепетом взирали на неслыханную роскошь – кровати с перинами, зеркала, диван конского волоса, плюшевый ковер, литографию королевы Виктории над камином в гостиной. И, уже спускаясь с крыльца, хватились Молли. Возвратились – и обнаружили ее в парадной спальне. Прижимая к плечу позаимствованную с туалетного столика миссис Джонс голубую ленту, она преглупо глазела на себя в зеркало. Ее вы бранили и увели из дому. Подвешенные к потолку кухни окорока решили предать земле, найденную в кладовке бочку пива Боец пробил копытом, а так больше ничего в доме не тронули. Не сходя с места, единогласно приняли резолюцию – считать хозяйский дом музеем. Все согласились, что никому из животных не подобает в нем жить.

Животные отправились завтракать, после чего Обвал и Наполеон снова созвали их.

– Товарищи, – сказал Наполеон. – Сейчас седьмой час, у нас впереди целый день. Сегодня мы начнем косовицу, но у нас есть еще одно дело, и им мы должны заняться в первую очередь.

И тут-то свиньи открыли им, что за последние три месяца они научились считать и писать по найденным на помойке старым прописям, по которым когда-то учились дети мистера Джонса. Наполеон распорядился принести по банке черной и белой краски

и повел их к тесовым воротам, выходящим на большак. Там Обвал (он оказался самым способным к письму) зажал кисть ножкой, замазал надпись «Господский Двор» на верхней тесине ворот и вывел «Скотный Двор». Отныне и навсегда ферма будет именоваться так. После чего они вернулись на подворье, а там Обвал и Наполеон распорядились принести стремянку и велели приставить ее к торцу большого амбара. Они объяснили, что путем упорных трудов свиньям удалось за последних три месяца свести положения скотизма к семи заповедям. Теперь эти семь заповедей будут начертаны на стене и станут нерушимым законом, которым отныне и навек будут руководствоваться животные Скотного Двора. Не без труда (свинье ведь нелегко удержаться на лестнице) Обвал вскарабкался наверх и принялся за работу, а Стукач – он стоял чуть ниже – держал банку с краской. Заповеди начертали на осмоленной стене крупными белыми буквами – их было видно метров за тридцать. Вот они:

Семь заповедей

1. Тот, кто ходит на двух ногах, – враг.
2. Тот, кто ходит на четырех (равно как и тот, у кого крылья), – друг.
3. Животное да не носит одежду.
4. Животное да не спит в кровати.
5. Животное да не пьет спиртного.
6. Животное да не убьет другое животное.
7. Все животные равны.

Буквы были выведены четко и, если не считать, что в слове «четырех» вместо первого «е» стояло «и», а в слове «спит» «с» перевернулось не в ту сторону, все было исключительно грамотно. Обвал прочел заповеди вслух для общего сведения. Животные согласно кивали головами, а те, кто поумнее, стали не мешкая заучивать заповеди наизусть.

– А теперь за работу, товарищи, – сказал Обвал, отбрасывая кисть. – Для нас должно стать делом чести убрать урожай быстрее, чем Джонс и его работники.

Но тут три коровы – они давно маялись – громко замычали. Их уже сутки не доили, и вымя у них только что не лопалось. Свиньи подумали-подумали, распорядились принести подойники и вполне сносно подоили коров – и для этого их ножки сгодились. И вот в пяти подойниках пенилось жирное молоко, и многие поглядывали на него с нескрываемым любопытством.

– Куда мы денем такую пропасть молока? – раздался вопрос.

– Джонс, бывало, подмешивал молоко нам в корм, – сказала

одна курица.

– Товарищи, не забивайте себе голову этим молоком, – прикрикнул Наполеон и заслонил своей тушей подойники. – Им займутся. Урожай – вот наша первоочередная задача. Товарищ Обвал поведет нас. Через несколько минут приду и я. Вперед, товарищи! Урожай не ждет.

И животные повалили в поле косить, а вечером было замечено, что молоко исчезло.

# Глава III

Они работали без устали, до седьмого пота, только бы убрать сено! Труды их не пропали даром, урожай выдался на славу, они и не надеялись собрать такой.

Порой они отчаивались, потому что коса, грабли – они ведь не для животных, для людей приспособлены: ни одному животному с ними не управиться, тут требуется стоять на задних ногах. Но свиньи – вот ведь умные! – из любого положения находили выход. Ну а лошади, те знали поле досконально, а уж косили и сгребали в валки так, как и не снилось Джонсу и его работникам. Сами свиньи в поле не работали, они взяли на себя общее руководство и надзор. Да иначе и быть не могло, при их-то учености. Боец и Кашка впрягались в косилку, а то и в конные грабли (им, конечно, не требовалось ни удил, ни уздечек) и упорно ходили круг за кругом по полю, а кто-нибудь из свиней шел сзади и покрикивал, когда «А ну, товарищ, наддай!», а когда «А ну, товарищ, осади назад!». А уж ворошили и копнили сено буквально все животные от мала до велика. Утки и куры и те весь день носились взад-вперед, по клочкам перетаскивая сено в клювах. Завершили уборку до срочно. Джонс с работниками наверняка провозился бы по меньшей мере еще два дня. Не говоря уж о том, что такого урожая на ферме сроду не видывали, вдобавок убрали его без потерь: куры и утки – они же зоркие – унесли с поля все до последней былинки. И никто ни клочка не украл.

Все лето ферма работала как часы. И животные были рады-радехоньки – они и думать не могли, что так бывает. Никогда они не ели с таким удовольствием: совсем другое дело, когда вырастишь еду сам и для себя, а не получишь из рук скупердяя хозяина. После того как они прогнали людей, этих никчемных паразитов, на долю каждого приходилось больше еды. И хотя недостаток опыта явно сказывался, отдыхали они тоже больше. Трудности преследовали их на каждом шагу. Например, когда приспело время собирать урожай, им пришлось молотить его на старинный лад на току, а чтобы вывеять мякину – дуть изо всех сил: молотилки на ферме не было; но они преодолевали любые трудности благодаря свиньям, их уму, и Бойцу, его невероятной силе. Бойцом восхищались все. Он и при Джонсе не ленился, а теперь и вовсе работал за троих; бывали дни, когда он вывозил на себе чуть не всю работу. С утра до ночи он тянул и тащил и всегда поспевал туда, где тяжелее всего. Он попросил одного из петушков будить его поутру на полчаса раньше, по своему почину

шел на самый узкий участок и до начала рабочего дня трудился там. Какие бы осечки, какие бы неудачи у них ни случались, у Бойца на все был один ответ: «Я буду работать еще упорнее», – такой он взял себе девиз.

Но и другие тоже работали в меру своих сил. От каждого по способностям: куры и утки, например, собрали по колоску чуть не два центнера оставленной в поле пшеницы. Никто не крал, не ворчал из-за пайков; склоки, брань, зависть почти прекратились, а ведь раньше считалось, что это в порядке вещей. Никто не отлынивал от работы, вернее, почти никто. Молли, правда, неохотно вставала поутру и норовила уйти с работы пораньше под предлогом, что повредила копыто камнем. Да и кошка вела себя подозрительно. Было замечено: едва ей хотели поручить какую-нибудь работу, кошка смывалась. Она надолго пропадала и объявлялась как ни в чем не бывало только к обеду или к вечеру, когда вся работа была уже сделана. Но она так убедительно оправдывалась, так ласково мурлыкала, что нельзя было не поверить: всему виной неудачно сложившиеся обстоятельства. А вот Вениамин, старый ослик, каким был, таким и остался. Медлительный, нравный, он работал так же, как при Джонсе, от работы не отлынивал, но и на лишнюю работу не напрашивался. Ни о восстании, ни о связанных с ним переменах он не высказывался. Если его спрашивали, лучше ли ему живется без Джонса, он говорил только:

– Ослиный век долгий, никому из вас не довелось видеть мертвого осла, – и всем приходилось довольствоваться этим загадочным ответом.

По воскресеньям не работали. Завтрак бывал на час позже обычного и всякий раз неизменно заканчивался пышной церемонией. Первым делом выкидывали флаг. Обвал отыскал в сбруйнице старую скатерть миссис Джонс и изобразил на ней белой краской рог и копыто. И каждое воскресенье поутру скатерть взлетала на флагшток в саду. «Зеленый цвет, – объяснил Обвал, – означает зеленые поля Англии, а рог и копыто знаменуют грядущую Скотную Республику, которая будет учреждена, когда мы повсеместно свергнем род людской». После поднятия флага животные тянулись в большой амбар на сходку – назывались эти сходки собраниями. На собраниях планировалась работа на текущую неделю, выдвигались и обсуждались разные предложения. Выдвигали предложения свиньи. Как голосовать, другие животные понимали, но ничего предложить не могли. На обсуждениях Обвал и Наполеон забивали всех своей активностью. Но было замечено, что эти двое никогда не могут согласиться: какое бы предложение ни вносил один, другой выступал против.

Даже когда решили – и тут уж вроде и возразить было нечего – отвести загончик за садом под дом отдыха для престарелых, они затеяли бурный спор о том, в каком возрасте каким животным уходить на покой. Собрания обязательно завершались пением «Тварей Англии», ну а днем развлекались кто как.

Сбруйницу свиньи забрали себе под штаб-квартиру. Здесь они вечерами изучали кузнечное, плотницкое дело и другие ремесла по книгам, позаимствованным в хозяйском доме. Обвал, кроме того, увлекся созданием всевозможных скотных комитетов. Этому занятию он предавался самозабвенно. Он учредил Комитет по яйцекладке – для кур, Комиссию по очистке хвостов – для коров, Ассоциацию по перевоспитанию диких товарищей (ее целью было приручение крыс и кроликов), Движение за самую белую шерсть – для овец, и так далее и тому подобное, не говоря уж о кружках по ликвидации безграмотности. Как правило, из проектов Обвала ничего не выходило. К примеру, попытка приручения диких животных провалилась чуть не сразу. В повадках диких животных не замечалось никаких перемен, а от хорошего отношения они только еще пуще распоясывались. Кошка во шла в Ассоциацию по перевоспитанию и на первых порах развила большую активность. Однажды ее застали на крыше: она проводила беседу с сидящими от нее на почтительном расстоянии воробьями – разъясняла им, что все животные теперь братья и если кто из воробьев пожелает сесть к ней на лапку – милости просим, но воробьи не торопились принять ее приглашение.

А вот кружки по ликвидации безграмотности, напротив, дали прекрасные результаты. К осени чуть не все в той или иной мере научились грамоте.

Что касается свиней, они уже свободно читали и писали. Собаки недурно читали, но ничего, кроме семи заповедей, читать не хотели. Коза Мона читала лучше собак и порой вечерами почитывала животным обрывки подобранных на помойке газет. Вениамин читал не хуже любой свиньи, но своим умением никогда не пользовался. Насколько ему известно, говорил он, ничего путного не написано, а раз так, незачем и читать. Кашка выучила алфавит от первой до последней буквы, но не умела складывать слова. Боец дальше буквы Г не пошел. Большущим копытом он выводил в пыли А, Б, В, Г, затем стоял, приложив уши, изредка потряхивал челкой и таращился на буквы, стараясь запомнить, какие же идут дальше, но куда там. Правда, ему случалось, и не раз, выучивать и Д, и Е, и Ж, и З, но тогда оказывалось, что он тем временем успевал забыть А, Б, В и Г. В конце концов он решил довольствоваться первыми четырьмя буквами и поставил себе за правило писать их два раза в день,

чтобы они не выветрились из памяти. Молли никаких других букв, кроме пяти, образовавших ее имя, учить не желала. Зато эти она ровненько выкладывала из прутиков, украшала там-сям цветком и, не в силах отвести глаз от своего имени, долго ходила вокруг.

Остальная скотина не пошла дальше А. Обнаружилось также, что животные поглупее, а именно овцы, куры и утки, не способны вы учить семь заповедей наизусть. Обвал подумал-подумал, потом объявил, что вообще-то семь заповедей можно свести к одному правилу, а именно: «Четыре ноги хорошо, две – плохо!» В нем, заявил Обвал, заключен основополагающий принцип скотизма. Тому, кто его хорошо усвоит, не опасно людское влияние. Против этого принципа поначалу выступили птицы: ведь у них, как они считали, тоже две ноги, но Обвал доказал им, что они ошибаются.

– Хотя как птичье крыло, так и рука, товарищи, – сказал он, – орган движения, но у него совершенно иная разновидность локомоции. И соответственно его следует приравнять к ноге. Отличительным же признаком человека является рука – это орудие всех его преступлений.

Птицы ученых слов не поняли, однако объяснение Обвала приняли, и все животные потупее принялись разучивать новое правило наизусть. «Четыре ноги хорошо, две – плохо!» – начертали большими буквами на торце амбара над семью заповедями. Заучив это правило наизусть, овцы очень к нему привязались и частенько, лежа в поле, хором заводили: «Четыре ноги хорошо, две – плохо! Четыре ноги хорошо, две – плохо!» – и блеяли так часами без устали.

Наполеон не выказывал никакого интереса к Обваловым комитетам. Он заявил, что во главу угла надо ставить воспитание молодежи, а не тех, кто уже сформировался как личность. Случилось так, что Роза и Ромашка после сенокоса разом ощенились – у них народилось девять крепких щенков. Едва щенят отняли от груди, Наполеон отобрал их у матерей, сказав, что берет их воспитание на себя. И унес щенят на сеновал, куда попасть можно было лишь по приставной лестнице, стоявшей в сбруйнице, так что щенят никто не видел и об их существовании вскоре забыли.

Таинственная история с пропажей молока вскоре разъяснилась. Свиньи подливали его каждый день в свой корм.

Начали созревать ранние сорта яблок, и трава в саду была усеяна падалицей. Животные считали, что падалицу, естественно, разделят между всеми поровну, но вскоре вышел приказ подобрать падалицу и снести в сбруйницу для удовлетворения

потребностей свиней. Кое-кто начал было роптать, но без толку. Тут все свиньи, даже Наполеон и Обвал, проявили полное единодушие. Стукача послали к животным провести среди них разъяснительную работу.

– Товарищи! – взывал он. – Я надеюсь, вы не думаете, что мы, свиньи, взяли себе молоко и яблоки из эгоизма или корысти? Да многие из нас терпеть не могут ни молока, ни яблок. И я в том числе. Мы берем их лишь для того, чтобы поддержать свое здоровье. В молоке и в яблоках (а это точно доказано наукой, товарищи) содержатся вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности свиней. Свиньи – работники умственного труда. Руководство и управление фермой целиком лежит на нас. И днем и ночью мы работаем на ваше благо. И молоко пьем, и яблоки мы едим тоже ради вас же самих. Знаете ли вы, что случилось бы, если бы мы, свиньи, оказались не в состоянии выполнять свой долг? Джонс вернулся бы! Да, да, вернулся бы Джонс! Уж не хотите ли вы, товарищи, – взывал Стукач, вертясь вьюном и крутя хвостиком, – уж не хотите ли вы возвращения Джонса?

А если животные чего не хотели, так это возвращения Джонса. И когда им представили дело в таком свете, они мигом замолчали. Теперь ни у кого не оставалось сомнений, что здоровье свиней – дело первостепенной важности. И животные без лишних разговоров согласились, что и молоко, и падалицу (а когда поспеют яблоки, то и весь их урожай) следует предназначить исключительно для свиней.

# Глава IV

К концу лета слухи о событиях на Скотном Дворе обошли чуть не полстраны. Каждый день Обвал и Наполеон рассылали стаи голубей с заданием проникать на соседние фермы, рассказывать животным о восстании, обучать их петь «Твари Англии».

Тем временем мистер Джонс почти безвыходно сидел в пивной уиллингдонской гостиницы «Красный лев» и плакался любому, кто соглашался слушать, на черную неблагодарность животных, которые выгнали его взашей с его же двора: пусть-ка теперь справятся без него. Фермеры вообще-то ему сочувствовали, но помогать не спешили. В глубине души каждый задавался вопросом: нельзя ли как-нибудь Джонсову беду обратить себе на пользу? По счастью, между хозяевами обеих ферм, граничащих со Скотным Двором, не прекращались распри. Одна из ферм, называлась она Плутни, большая и запущенная, велась по старинке: угодья ее зарастали мелколесьем, выгоны были вытоптаны, заборы покосились. Хозяин ее, мистер Калмингтон, благодушный фермер с барскими замашками, чуть не все время пропадал то на рыбной ловле, то на охоте – смотря по сезону. Другая ферма, именовалась она Склоки, была поменьше и велась получше. Хозяин ее, некий мистер Питер, ловкач и выжига, затевал бесчисленные тяжбы и в умении облапошить не знал равных. Они настолько не переваривали друг друга, что никогда и ни о чем не могли договориться, даже если от этого страдали их собственные интересы.

Однако восстание на Скотном Дворе не на шутку перепугало обоих, и что тот, что другой чего только не делали, чтобы их животные о нем не узнали. Поначалу они просто насмехались над животными – эка хватили, ну где им самим вести хозяйство. Да животные не продержатся у власти и двух недель, говорили они. И распускали слухи, что на Господском Дворе (они упорно называли ферму Господским Двором, настолько им было ненавистно название Скотный Двор) начались междоусобицы и что не сегодня завтра скотина там начнет подыхать с голоду. Но время шло, скотина и не думала дохнуть с голоду, и тогда Питер и Калмингтон сменили пластинку и стали рассказывать о чудовищном падении нравов на Скотном Дворе. Сообщали, что животные пожирают друг друга, ввели пытки раскаленными подковами и обобществили самок. Вот чем кончается, когда восстают против законов природы, – так говорили Питер и Калмингтон.

Им, однако, не очень-то верили. И молва о замечательной ферме, где прогнали людей и где животные сами вершат дела, пусть неточная и искаженная, шла все дальше и дальше, и круглый год в округе попахивало бунтом. Быки, прежде покладистые, впадали в буйство, овцы валили изгороди и пожирали клеверища, коровы опрокидывали подойники, скакуны, вместо того чтобы брать барьеры, перекидывали через них ездоков. И в довершение всего в Англии не осталось такого места, где не знали бы мелодии да и слов «Тварей Англии». Песня разошлась с неслыханной быстротой. Люди при ее звуках впадали в ярость, но притворялись, что считают ее нелепой. Стыд и срам, говорили они, петь подобную чушь, даже от животных они не ожидали ничего подобного. Если кого-нибудь из животных застигали за пением «Тварей Англии», его тут же, на месте преступления, охаживали кнутом. Но задушить песню не удалось. Ее насвистывали дрозды на изгородях, чирикали воробьи на ветках вязов, выбивали молоты кузнецов, вызванивали церковные колокола. При звуках ее люди втайне трепетали – им слышалось предвестие грядущей гибели.

В начале октября, когда убрали, заскирдовали и начали обмолачивать пшеницу, на Скотный Двор, рассекая воздух, вне себя от возбуждения опустились голуби. Джонс и все его работники, а с ними и пяток парней из Плутней и Склок вошли в тесовые ворота и по проселочной дороге двигаются к Скотному Двору. У всех при себе дубинки, впереди с ружьем наперевес Джонс. Сомневаться не приходилось: они вознамерились отбить ферму.

Животных не застали врасплох – они давно готовились к нападению. Оборону возглавил Обвал – он загодя проштудировал растрепанный том «Записок о галльской войне» Юлия Цезаря, обнаруженный им в хозяйском доме. Обвал сыпал приказами и в считанные минуты расставил всех по местам.

Люди еще только подходили к ферме, а Обвал уже начал наступление. Голуби, в числе тридцати пяти штук, носились взад-вперед над людьми и гадили им на головы; покуда люди отчищались, на них напали притаившиеся за изгородью гуси и щипали их за ноги. Но это был всего лишь отвлекающий маневр, имевший целью внести расстройство в ряды противника, и люди без особого труда отогнали гусей палками. И вот тут-то Обвал двинул в бой главные силы. Мона, Вениамин и овцы под водительством Обвала ринулись на людей, окружили их и ну бодать, ну пырять, а Вениамин оборотился задом и давай брыкаться. Но куда там – и на этот раз они не одолели людей: у тех ведь и дубинки, и подбитые гвоздями башмаки, и тогда

Обвал, пронзительно заверещав, подал сигнал к отступлению, и животные, разом повернув, укрылись во дворе.

Раздался торжествующий крик. Люди сочли, что враг отступил, и, не потрудившись навести порядок в своих рядах, бросились преследовать его. На что и рассчитывал Обвал. Едва люди углубились во двор, в тылу у них обнаружились три лошади, три коровы и остальные свиньи – они устроили засаду в коровнике и отрезали людям путь к отступлению. Вот тут-то Обвал и подал сигнал к атаке. Сам он взял на себя Джонса. Джонс увидел, что Обвал мчится прямо на него, вскинул ружье и нажал курок. Заряд дроби угодил Обвалу в спину, оставив на ней кровавые борозды, и убил наповал одну овцу. Но Обвал не дрогнул и всей своей шестипудовой тушей двинул Джонса по ногам. Джонс отлетел на навозную кучу и выронил ружье. Но сильнее всех перепугал людей Боец: встав на дыбы – ну жеребец жеребцом, – он бил здоровенными подкованными копытами. Первый же из его ударов угодил конюху из Плутней по голове, и тот замертво свалился в грязь. Люди побросали дубинки и кинулись в бегство. Животные, воспользовавшись растерянностью людей, дружно гоняли их кругами по двору. Поднимали на рога, лягали, кусали, топтали. Не было животного на ферме, которое не постаралось бы посильно отплатить за все обиды. Даже кошка и та спрыгнула с крыши на плечи скотнику и запустила ему когти в шею, да так, что он заорал благим матом. Едва путь к воротам открылся, люди бросились к большаку – они не чаяли унести ноги. И пяти минут не прошло, как они вторглись на Скотный Двор, и вот уже им пришлось с позором отступить, а за ними, злобно шипя, гналась по пятам стая гусей.

Удрать удалось всем нападающим, кроме одного. На задах Боец копытом поддевал лежавшего ничком в грязи конюха, стараясь его перевернуть.

– Он умер, – горевал Боец, – а ведь я не хотел его убить. Совсем запамятовал, что меня подковали. А теперь никто не поверит, что это я нечаянно.

– Отставить сантименты, товарищ! – прикрикнул на него Обвал, обливаясь кровью. – Война есть война. Хороший человек – это мертвый человек.

– Я не хочу никого убивать, пусть даже и людей, – твердил Боец, и в глазах его стояли слезы.

– А где же Молли? – послышался вопрос.

Молли и впрямь исчезла. Поднялся переполох: ведь люди могли ее поранить, а то и увести с собой. В конце концов ее обнаружили: она пряталась в деннике, зарыв голову в ясли с сеном. Едва раздался вы стрел, она сбежала с поля боя. Пока

искали Молли, конюх – оказалось, он всего-навсего лишился чувств – опамятовался и смылся.

Животные снова сошлись и вне себя от возбуждения повествовали о своих подвигах, норовя перекричать друг друга. Решили, не откладывая дела в долгий ящик, экспромтом отпраздновать победу. Подняли флаг, несколько раз подряд спели «Твари Англии», с почестями похоронили павшую в бою овцу и посадили на ее могиле куст боярышника. Над могилой Обвал произнес речь, в которой подчеркнул, что они все, как один, должны быть готовы, если потребуется, отдать жизнь за Скотный Двор.

Единогласно решили учредить награду за боевые за слуги – Герой Скотного Двора I степени, – ее прямо на месте присвоили Обвалу и Бойцу. Награжденным предписывалось по воскресеньям и праздничным дням носить медную медаль (на них пошли бляхи со шлей, которые нашлись в сбруйнице). Учредили также звание Героя Скотного Двора II степени – его посмертно присвоили овце.

Долго спорили о том, как назвать этот бой. В результате решили именовать его Бой под коровником – ведь именно из коровника сидевшие в засаде ударили по врагу. Извлекли из грязи ружье мистера Джонса, – на ферме, как было известно, имелись к нему патроны. Приняли решение установить у подножия флагштока вместо пушки ружье и дважды в год отмечать залпом годовщину Боя под коровником – 12 октября и годовщину восстания – в канун Иванова дня.

# Глава V

К зиме с Молли совсем не стало сладу. Что ни утро она опаздывала на работу, в оправдание говорила, что проспала, жаловалась на таинственные недомогания, хотя ела по-прежнему с отменным аппетитом. Она выискивала всевозможные предлоги, чтобы бросить работу, удирала к пруду и часами стояла там, преглупо глазея на свое отражение в воде. Но если верить молве, имелись у нее проступки и посерьезнее. И однажды, когда Молли беззаботно прогуливалась по двору, помахивая длинным хвостом и жуя клок сена, Кашка отвела ее в сторону.

– Молли, – сказала она. – Я должна серьезно поговорить с тобой. Утром я видела, как ты через изгородь заглядывала в Плутни. По ту сторону изгороди стоял конюх мистера Калмингтона. Так вот, хотя я и была от вас далеко, глаза меня не обманули: я видела, что он говорит с тобой, треплет тебя по храпу, а ты ничуть этому не противишься. Молли, что это значит?

– И вовсе он не трепал! И не стояла я там! Ничего этого не было! – выкрикнула Молли и стала выделывать курбеты и рыть копытами землю.

– Молли! Погляди мне в глаза! Поклянись, что конюх не трепал тебя по храпу!

– Ничего этого не было! – повторила Молли, но глаза отвела и давай ходу в поле.

И тут-то Кашку осенила мысль. Никому ничего не говоря, она пошла в Моллин денник и переворошила солому. Под соломой обнаружилась кучка кускового сахара и несколько пучков разноцветных лент.

А три дня спустя Молли пропала. Неделя шла за неделей, но никто так и не знал, где она, потом голуби донесли, что ее видели на другой стороне Уиллингдона. Она стояла у пивной, запряженная в изящные красно-черные дрожки. Красномордый толстяк в клетчатых бриджах и гамашах, по всей вероятности, хозяин пивной, трепал ее по храпу и кормил сахаром. Грива ее была свежепострижена, челку украшала алая лента. Если верить голубям, она явно наслаждалась жизнью. С тех пор никто и никогда не произносил имени Молли.

В январе залютовали морозы. Земля стала твердая как камень, работы в поле пришлось прекратить. Собрания перенесли в большой амбар, свиньи же всецело отдались планировке весенних работ. Все согласились, что кому, как не свиньям, раз они явно всех умнее, и направлять работу фермы, но решения их будут утверждаться лишь в том случае, если за них проголосует

большинство. Задумано было дельно, да вот беда – между Обвалом и Наполеоном вечно шли споры. Они расходились во всем, был бы повод. Если один предлагал сеять больше ячменя, другой соответственно требовал сеять больше овса, если же один говорил, что на этом поле хорошо бы посадить капусту, другой утверждал, что оно годится исключительно под свеклу. У каждого были свои сторонники, и между ними то и дело завязывались ожесточенные дискуссии. Обвал, пламенный оратор, увлекал за собой чуть не всех слушателей на собраниях, но только на собраниях, а так-то куда лучше обеспечивал себе поддержку Наполеон. Особенно охотно шли за Наполеоном овцы. Последнее время они повадились блеять «Четыре ноги хорошо, две – плохо!» к месту и не к месту и своим блеянием постоянно прерывали собрания. Было замечено, что они почти всегда приурочивали свое «Четыре ноги хорошо, две – плохо!» к решающим местам речей Обвала. Обвал прочел от корки до корки комплект «Земледельца и скотовода», обнаруженный им в хозяйском доме, и был переполнен до краев планами всевозможных новшеств и усовершенствований. Он со знанием дела рассуждал о дренаже, силосе, фосфорных удобрениях и разработал хитроумный проект, который предписывал животным оставлять навоз только на поле, причем каждый раз на другом месте, что обеспечивало большую экономию труда по перевозке удобрений. Наполеон же, напротив, никаких проектов не выдвигал, зато преспокойно утверждал, что из проектов Обвала ничего не выйдет, и, похоже, выжидал время. Но самая жестокая из всех стычек вышла у них из-за ветряной мельницы.

На выгоне, тянувшемся вдоль служб, вздымался взгорок – выше его не было места на ферме. Обозрев окрестности, Обвал заявил, что взгорок буквально создан для ветряной мельницы, а на мельнице они поставят генератор, и он будет снабжать ферму током. Тогда они проведут в стойла свет, смогут отапливать их зимой, не говоря уж о том, что ток позволит завести дисковую пилу, соломорезку, свеклорезку и машинную дойку. Животные ни о чем подобном и слыхом не слыхивали (ферма была из самых отсталых, и если там и имелись машины, то крайне допотопные), поэтому они, развесив уши, внимали Обвалу, а тот развернул перед ними заманчивую картину: машины делают за них всю работу, они же пасутся в свое удовольствие, а то и повышают свой уровень чтением и беседами.

Недели через две-три Обвал полностью разработал проект ветряной мельницы. В основу технической части легли три источника: «Тысяча полезных советов по дому», «Каждый сам себе каменщик» и «Что надо знать начинающему электрику»,

позаимствованные в библиотеке мистера Джонса. Под свой кабинет Обвал приспособил сарай, где раньше размещался инкубатор, – там был ровный деревянный пол, как нельзя лучше подходящий для черчения. Обвал часами пропадал в нем. Придавив книгу на нужной странице камнем, зажав в ножке мелок, он сновал взад-вперед по сараю, проводил черту за чертой и повизгивал от восторга. Мало-помалу чертеж – сложное переплетение коленчатых валов и зубчатых колес – распространился чуть не на половину сарая; на животных, пусть они в нем ничего не понимали, он производил сильнейшее впечатление. Не было такого животного, которое хоть раз в неделю не пришло бы посмотреть на чертеж Обвала. Даже куры и утки и те приходили, правда, старались держаться подальше от меловых линий. Один Наполеон не выказывал никакого интереса к мельнице. Он с самого начала заявил себя ее противником. Тем не менее и он в один прекрасный день явился посмотреть на чертеж. Тяжело ступая, обошел сарай, разглядел чертеж в мельчайших подробностях, нюхнул его там-сям, а потом задрал вдруг ногу, пустил на чертеж струю и, не сказав ни слова, покинул сарай.

Из-за строительства ветряной мельницы на ферме произошел раскол. Обвал не скрывал, что строительство ветряной мельницы потребует от них отдачи всех сил. Придется добывать камень, возводить стены, сооружать крылья, а там понадобятся и генератор, и провода. (Как он рассчитывает их раздобыть, Обвал не уточнял.) И тем не менее, заверял он животных, они по строят мельницу за год. Ну а потом, утверждал он, мельница даст такую экономию труда, что они смогут работать всего три дня в неделю. Наполеон же, напротив, провозгласил, что на сего дня первоочередная задача – увеличить производство кормов, строительство же ветряной мельницы лишь отвлечет их и обречет на голодную смерть. Животные разбились на два лагеря; один выдвинул лозунг «Голосуйте за Обвала и три дня работы в неделю», другой – «Голосуйте за Наполеона и полную кормушку». Только Вениамин не примкнул ни к одному лагерю. Он не верил ни в грядущее изобилие, ни в экономию труда, которую якобы даст ветряная мельница. С мельницей или без мельницы, говорил он, они как жили, так и будут жить, иначе говоря, плохо.

Разногласия возникали не только из-за строительства ветряной мельницы, в вопросе обороны фермы тоже не было единства. Все понимали, что, хотя люди потерпели поражение в Бою под коровником, они предпримут еще одну, на этот раз более решительную попытку отвоевать ферму и восстановить власть мистера Джонса. Тем более что весть о поражении людей обошла

округу и животные на соседних фермах вовсе отбились от рук. Обвал и Наполеон и тут полностью разошлись. Наполеон требовал добыть огнестрельное оружие и наладить боевую подготовку. Обвал – рассылать побольше голубей и поднимать на восстание скотину соседних ферм. Надо крепить оборону, иначе нас сомнут, утверждал один; надо поднять на восстание скотину всех ферм – и тогда никакая оборона не понадобится, утверждал другой. Животные слушали сначала Обвала, потом Наполеона и никак не могли решить, кто же из них прав; вообще-то какой бы оратор перед ними ни выступил, они поддерживали его единодушно.

Но вот настал день, и Обвал завершил свой проект. В следующее же воскресенье поставили на голосование вопрос – приступать или не приступать к строительству ветряной мельницы? Когда животные собрались, Обвал взял слово и, хотя овцы то и дело прерывали его блеянием, подробно обосновал, почему он ратует за строительство ветряной мельницы. Затем слово для ответа взял Наполеон. Он преспокойно заявил, что ветряная мельница – сущая чушь и что он не советует за нее голосовать; говорил он полминуты, не больше, и, похоже, нисколько не интересовался тем, как подействуют его слова на слушателей. Следом вскочил Обвал и, громовым голосом перекрывая овец, которые тут же принялись блеять, произнес пламенную речь в защиту ветряной мельницы. До сих пор у Обвала и Наполеона было примерно поровну сторонников, но Обвал своим ораторским искусством увлек за собой всех. Он в самых радужных красках расписал, каким станет Скотный Двор, когда скотина сбросит с себя бремя непосильного труда. Воображение его разыгралось – он пошел куда дальше жалких соломо– и репорезок. Электричество, сказал он, приведет в действие молотилки, плуги, бороны, косилки, жатки, сноповязалки, более того, электричество даст возможность провести в каждое стойло свет, горячую, холодную воду и отопление. Обвал еще не кончил свою речь, а исход голосования уже был совершенно ясен. Но тут Наполеон встал, многозначительно глянул на Обвала искоса и испустил пронзительный визг – ни кто и никогда не слышал от него такого.

В ответ послышался устрашающий лай, и девять здоровенных псов в ошейниках с медным набором во рвались в амбар. Они прямиком рванули к Обвалу, и хорошо еще, тот схватился с места, иначе не сносить бы ему головы. В минуту Обвал был за дверью, псы пустились за ним. Ошеломленные, перепуганные животные молча вывалились из сарая – следить за погоней. Обвал мчал через длинный выгон к большаку. Он бежал со всех ног,

никто, кроме свиней, не умел так бегать, и все равно псы догоняли его. Вдруг он поскользнулся – казалось, псы сейчас схватят его. Ан нет, он вскочил, еще наддал, но вот опять расстояние между ним и псами стало сокращаться. Еще чуть-чуть – и, не вильни Обвал вовремя хвостом, один из псов вцепился бы в него. Но Обвал опять наддал, оторвался от псов, юркнул в дыру в изгороди и был таков.

Притихшие, запуганные животные поплелись обратно в сарай. Псы чуть не сразу вернулись. Поначалу все недоумевали, откуда они взялись, но загадка быстро разрешилась: это были те самые щенки, которых Наполеон отнял у Розы и Ромашки и держал на сеновале. Они уже вымахали в здоровенных псов, свирепых, что твои волки, а ведь им предстояло еще расти. Они ни на шаг не отходили от Наполеона. Было замечено, что они пресмыкаются перед ним, точь-в-точь как в прежние дни перед мистером Джонсом пресмыкались его псы.

Потом Наполеон в сопровождении псов взобрался на помост, с которого некогда произнес свою речь Главарь. Наполеон объявил, что отныне воскресные собрания отменяются. Они исчерпали себя, сказал Наполеон, и превратились в пустую трату времени. В дальнейшем все вопросы, касающиеся работы фермы, будут переданы в ведение комитета, куда войдут только свиньи, а возглавит его он лично. Заседания комитета будут закрытыми, о принятых решениях животных будут ставить в известность. Поутру в воскресенье животные по-прежнему будут сходиться – отдавать честь флагу, петь «Твари Англии» и получать наряды на неделю, но дискуссии прекращаются отныне и навсегда.

Как ни потрясло животных изгнание Обвала, отмена дискуссий удручила их до крайности. Кое-кто наверняка бы запротестовал, найдись у него доводы. Даже Боец был озадачен. Он прижал уши, потряхивал челкой, но мысли у него разбегались, и, как ни тужился, он не мог придумать, что бы тут сказать. Зато среди самих свиней обнаружились такие, у которых нашлось что возразить. Четверо подсвинков в первом ряду возмущенно заверещали, разом вскочили и заговорили хором. Но псы, окружившие Наполеона, грозно зарычали, и подсвинки прикусили языки и сели. Овцы сразу же грянули: «Четыре ноги хорошо, две – плохо!» – и блеяли так чуть не четверть часа – какие уж тут дискуссии!

После чего Стукач получил задание обойти ферму и объяснить животным новые порядки.

– Товарищи, – сказал он, – я надеюсь, вы все понимаете, какую жертву приносит товарищ Наполеон, взвалив на себя еще и руководство фермой. Уж не думаете ли вы, товарищи, что

руководить легко? Напротив, это серьезный, тяжкий труд. Нет и не может быть более стойкого приверженца равенства всех животных, чем товарищ Наполеон. Он был бы просто счастлив не принимать решений единолично, а доверить это вам. Но кто поручится, что вы не примете неверное решение? Вдруг вы решили бы пойти за Обвалом с его вилами по воде писанными ветряными мельницами, тем самым Обвалом, который разоблачил себя как вредитель?

– Он храбро дрался в Бою под коровником, – раздался голос.

– Одной храбрости мало, – сказал Стукач, – преданность и беспрекословное повиновение – вот что важно. Что же касается Боя под коровником, я верю – недалек тот час, когда выяснится, что роль Обвала в Бою под коровником сильно раздута. Дисциплина, товарищи, железная дисциплина! Вот наш девиз на сегодняшний день. Один неверный шаг – и враг нападет на нас. Уж не хотите ли вы, товарищи, чтобы возвратился Джонс?

И опять он нашел безошибочный довод. Конечно же, они не хотели, чтобы Джонс возвратился, и, если воскресные дискуссии могут способствовать возвращению Джонса, они прекратят дискуссии. Боец – он успел собраться с мыслями – выразил общее мнение:

– Раз так говорит товарищ Наполеон, значит, так оно и есть. Товарищ Наполеон никогда не ошибается.

И отныне к прежнему своему девизу «Я буду работать еще упорнее» прибавил девиз «Товарищ Наполеон всегда прав».

Холода наконец отступили – пора было начинать весеннюю пахоту. Сарай, где Обвал чертил ветряную мельницу, заперли, а чертежи, по всей вероятности, стерли. По воскресеньям животные сходились к десяти утра в большой амбар за нарядами на неделю. Череп старого Главаря, отполированный временем, вырыли и установили в саду на пне у подножия флаг штока рядом с ружьем. После поднятия флага животным, прежде чем проследовать в амбар, надлежало пройти церемониальным маршем мимо черепа. Теперь они больше не садились скопом, как прежде. Наполеон со Стукачом и еще один хряк, по имени Последыш, наделенный поразительным даром слагать песни и стихи, усаживались на помосте, за ними полукругом помещались девять собак, позади них – прочие свиньи. Остальные животные располагались напротив, но не на помосте, а прямо на полу. Наполеон круто, по-солдатски распределял наряды на неделю, и, пропев один раз «Твари Англии», животные расходились.

На третье воскресенье после изгнания Обвала Наполеон заявил, что ветряная мельница все же будет построена, чем несколько озадачил животных. Почему он изменил свое решение,

Наполеон не объяснил, лишь предупредил, что выполнение этой дополнительной задачи потребует от них поистине небывалых усилий и не исключено, что их пайки придется урезать. Проект строительства ветряной мельницы, как оказалось, был уже разработан до мельчайших деталей. Последние три недели над ним работал особый комитет, куда вошли исключительно свиньи. Предполагалось, что строительство ветряной мельницы, ну и еще кое-каких служб, займет два года.

Вечером Стукач провел с каждым индивидуальную работу, разъяснил, что на самом деле Наполеон вовсе не возражал против строительства ветряной мельницы. Напротив, он с самого начала ратовал за нее, и проект, который они видели на полу сарая, выкраден Обвалом у Наполеона. Ветряная мельница, в сущности, детище Наполеона. Почему же тогда, раздался голос, Наполеон так резко выступил против нее? Тут Стукач скорчил лукавую мину. В этом, объяснил он, и проявилась мудрость товарища Наполеона. Он умышленно выказал себя противником строительства ветряной мельницы, чтобы при помощи этого хитрого хода убрать с дороги Обвала, матерого врага, который мог увлечь их по неверному пути. Теперь же, когда Обвал обезврежен, они наконец-то приступят к строительству ветряной мельницы. Вот что такое тактика, сказал Стукач. Тактика, товарищи, тактика, хихикал он, вертясь вокруг них вьюном и крутя хвостиком. Животные не поняли, что это значит, но Стукач говорил так напористо, а трое случившихся тут псов рычали так злобно, что они не стали углубляться и удовлетворились его объяснениями.

# Глава VI

Всю зиму животные работали как каторжные. Но труд был для них счастьем: они не жалели сил, шли на любые жертвы – их вдохновляло, что они работают ради себя, ради грядущих поколений, а не ради людей, этих бездельников и эксплуататоров.

Весну и лето они работали по десять часов в день, а в августе Наполеон объявил, что отныне им придется работать и по воскресеньям после обеда. Явка на воскресники, разумеется, строго добровольная, но тем, кто не явится, паек урежут наполовину. Несмотря на это, они сделали далеко не все, что запланировали. Урожай собрали не такой богатый, как в прошлом году, и два поля, которые предполагалось засеять свеклой и брюквой, пустовали, потому что их вовремя не распахали. Уже сейчас было ясно, что зима предстоит трудная.

При строительстве ветряной мельницы они столкнулись с совершенно неожиданными сложностями. На ферме имелся известняковый карьер, и не маленький. В одном из сараев обнаружили изрядный запас песка и цемента, так что все стройматериалы были в их распоряжении. Но возникла одна задача, которая поначалу поставила их в тупик: надо было разбить камни на куски потребного размера. Без лома и кирки тут не обойтись, а с ними животным не управиться: ведь никто из них не может стоять на задних ногах. Не одна неделя прошла, прежде чем нашли выход, а именно использовать силу тяжести. На дне карьера лежали громадные, непригодные для строительства валуны; обвязав валун веревкой, животные миром – коровы, лошади, овцы, буквально все, кто мог держать веревку, а когда валун грозил сорваться, даже свиньи – пядь за пядью, натужно, медленно втаскивали его вверх по откосу, затем сбрасывали на дно, и он разлетался на куски. Доставить разбитый камень не составляло особого труда. Лошади возили его телегами, овцы волокли камень за камнем, Мона и Вениамин на пару впрягались в обшарпанную повозку, чтобы внести посильный вклад в общее дело. К концу лета камня заготовили достаточно и под руководством свиней приступили к строительству.

Но строительство двигалось медленно, негладко. Нередко они бились чуть не целый день, а втаскивали наверх один-единственный валун, причем случалось и так, что сброшенный валун не разбивался. Им бы нипочем не справиться без Бойца: ведь силой он равнялся чуть не всем животным, вместе взятым. Если валун полз вниз, увлекая животных за собой, Боец налегал на веревку и удерживал его на месте. Когда он шаг за шагом

поднимался по откосу, надрывно храпя, упираясь копытами, с белыми от мыла боками, животные с обожанием глядели на него. Кашка порой просила его беречь себя, не надрываться, но Боец и слушать ничего не хотел. Он считал, что с помощью двух лозунгов: «Я буду работать еще упорнее» и «Товарищ Наполеон всегда прав» – одолеет все трудности. И попросил петушка будить его поутру не на полчаса, а на три четверти часа раньше. Едва у него выдавалась такая редкая теперь свободная минута, он по своему почину спускался в каменоломню, нагружал телегу обломками валунов и самосильно втаскивал их на стройплощадку.

И все же, пусть животные и работали до изнеможения, лето они прожили неплохо. Кормили их хоть и не лучше, чем при Джонсе, но и не хуже. Зато в их положении имелось одно преимущество: теперь они кормили лишь себя, тогда как прежде на их шее сидели пять человек, притом прожорливых, – преимущество немаловажное, оно искупало многое. Вдобавок кое-какие работы животные выполняли и ловчее, и сноровистее: поля, к примеру, они пропалывали так дотошно, как людям и не снилось. К тому же прекратились потравы, а значит, отпала надобность отгораживать выгоны от пашен и, следовательно, чинить изгороди и ворота. Тем не менее этим летом – и чем дальше, тем чаще – не хватало то одного, то другого. Недоставало керосина, гвоздей, веревок, галет для собак, железа для подков, Скотный же Двор ничего подобного не производил и произвести не мог. А там ведь потребуются еще и семена, и минеральные удобрения, не говоря уж о лопатах, кирках и тому подобном, и, наконец, оборудование для мельницы. Каким путем все это раздобыть, они не представляли.

И однажды в воскресенье, когда животные пришли поутру за недельными нарядами, Наполеон объявил, что взял курс на новую политику. Отныне Скотный Двор начинает торговать с соседними фермами, но отнюдь не ради прибыли, а с целью получить товары, без которых им в настоящий момент никак не обойтись. «Задача строительства ветряной мельницы для нас превыше всего», – сказал Наполеон. Вот почему он ведет переговоры о продаже стога сена, а также части урожая пшеницы текущего года, ну а там, если снова возникнет нужда в деньгах, они покроют ее за счет продажи яиц – в Уиллингдоне на них всегда спрос. Куры, сказал Наполеон, должны радоваться, что могут принести жертву: она позволит им внести личный вклад в строительство ветряной мельницы.

И снова животным стало несколько не по себе. Не иметь отношений с людьми, не заниматься торговлей, не пользоваться

деньгами: разве после победы над Джонсом не были – среди прочих – приняты и такие решения? Что такие решения принимали, всем помнилось, во всяком случае, помнилось что-то вроде этого. Четыре подсвинка, те самые, которые возмутились, когда Наполеон отменил собрания, попытались было возразить, но собаки грозно зарычали, и они вмиг стихли. Овцы тут же грянули свое неизменное «Четыре ноги хорошо, две – плохо», и замешательство быстро сгладилось. Тогда Наполеон вскинул вверх ножку, требуя тишины, и объявил, что он уже обо всем договорился. Никому из них не придется вступать в сношения с людьми, что, безусловно, было бы крайне нежелательно. Эту ношу он целиком и полностью взвалит на себя. Некий мистер Сопли, ходатай, живущий в Уиллингдоне, согласился служить посредником между Скотным Двором и соседними фермами – каждый понедельник поутру он будет приходить за указаниями. В конце речи Наполеон, как всегда, провоз гласил: «Да здравствует Скотный Двор!» – потом животные исполнили «Твари Англии» и разошлись.

Позже Стукач обошел встревоженную скотину и навел порядок в умах. Никаких решений, запрещавших торговать и пользоваться деньгами, заверял он, никогда не только не принимали, но даже не ставили на голосование. Все это чистейшей воды выдумки, и, если проследить, кто их распускает, не исключено, что нити протянутся к Обвалу. Кое-кого из животных доводы Стукача все же не вполне убедили, но на них он прикрикнул: «Да вы что, товарищи, вам небось эти решения примерещились! У вас что, есть документы, их подтверждающие? Эти решения, они что, где-нибудь записаны?» И поскольку такие решения нигде не были записаны, животные поверили, что и впрямь ошиблись.

По понедельникам, согласно уговору, мистер Сопли наведывался на Скотный Двор. У этого продувного низкорослого субъекта с баками, кое-как пробавлявшегося посредничеством, хватило смекалки раньше других сообразить, что Скотному Двору не обойтись без ходатая и что тут можно огрести нешуточные комиссионные. Животные его боялись и старались по возможности избегать. Тем не менее вид стоящего на четвереньках Наполеона, который давал указания стоящему на двух ногах Сопли, преисполнял их чувством законной гордости и пусть не до конца, но примирял с новыми порядками. Надо сказать, что отношения их с людским родом в последнее время переменились. Теперь, когда Скотный Двор процветал, люди ненавидели его не только не меньше, но еще пуще прежнего. Все они без исключения свято верили, что Скотный Двор рано или

поздно разорится, а уж строительство ветряной мельницы тем паче никогда не будет закончено. Они сходились в пивных, чертили какие-то графики, убеждая друг друга, что ветряная мельница непременно рухнет, а если и не рухнет, то, во всяком случае, не будет работать. И тем не менее животные уж очень ловко управлялись с хозяйством, а потому люди волей-неволей испытывали к ним уважение. И вот доказательство: люди перестали называть Скотный Двор Господским Двором, а ведь прежде делали вид, что нового названия не существует. Перестали они также поддерживать Джонса, и тот понял, что Скотный Двор ему не вернуть, и подался в другие края. До сих пор Скотный Двор сносился с человеческим окружением исключительно через Сопли, однако ходили упорные слухи, что Наполеон предполагает заключить торговое соглашение то ли с мистером Калмингтоном из Плутней, то ли с мистером Питером из Склок, но, как было замечено, никогда с тем и другим одновременно.

Примерно в эту пору неожиданно для всех свиньи перебрались в хозяйский дом. И снова животные припомнили, что вроде бы было решение, запрещавшее животным жить в хозяйском доме. И вновь Стукачу удалось убедить их, что они ошибаются. Свиньи, сказал он, думают за вас, поэтому им необходимо создать условия для работы. А вождя (последнее время он стал называть Наполеона вождем) положение просто обязывает жить в доме, а не в свинарнике. Тем не менее, когда животные прослышали, что свиньи не только едят в кухне и отдыхают в гостиной, но и спят на кроватях, кое-кто из них встревожился. Боец и на это сказал лишь: «Товарищ Наполеон всегда прав», зато Кашка, которая вроде бы припомнила, что было принято решение, запрещающее спать на кроватях, отправилась к торцу амбара и долго таращилась на семь заповедей. Однако составить из отдельных букв слова не сумела и сходила за Моной.

– Мона, – попросила она, – прочти-ка мне четвертую заповедь. Она ведь запрещает спать в кроватях, разве нет?

Мона с трудом разобрала по складам.

– «Животное да не спит в кровати под простынями», так там написано, – доложила она на конец.

И вот что любопытно: Кашка не помнила, чтобы в четвертой заповеди говорилось о простынях, но раз так написано на стене, выходит, что говорилось. Стукач – а он очень кстати случился тут, и не один, а с парой-тройкой псов – представил дело в верном свете:

– Я так понимаю, товарищи, вы уже знаете, что мы, свиньи, стали спать в кроватях? А почему бы, спрашивается, и нет? Уж не

считаете ли вы, что принималось решение, запрещающее спать в кроватях? Что такое кровать – всего-навсего место для спанья. И строго говоря, какая разница, где спать – на кровати или в стойле, на охапке соломы? На самом деле запрещалось спать на простынях, потому что их изобрели люди. Мы сняли с хозяйских кроватей простыни и заменили их одеялами. Кровати, кстати сказать, очень удобные. Но не слишком удобные, а в самую меру, именно такие, скажу я вам, товарищи, и требуются нам, при том, какой ответственной работой мы занимаемся. Неужели вы хотите лишить нас отдыха, товарищи? Неужели вы хотите, чтобы мы валились с ног от усталости? Уж не хотите ли вы, товарищи, чтобы возвратился Джонс?

Животные заверили его, что ничего подобного у них и в мыслях не было, и разговоры о кроватях за глохли. И когда несколько дней спустя свиньи объявили, что будут вставать на час позже других, никто и не пикнул.

К осени животные подошли усталые, но довольные. Этот год дался им нелегко, часть сена и зерна пришлось продать, кормов на зиму было запасено негусто, зато ветряная мельница вознаграждала их за все. Строительство близилось к завершению. Урожай убрали, стояли ясные, погожие дни, животные трудились с небывалым подъемом – они были готовы таскать камни от зари до темна, лишь бы стены ветряной мельницы стали хоть на полметра выше. Боец, тот даже ночью, урывая час-другой от сна, в одиночку таскал камень – благо перед осенним равноденствием было полнолуние. В редкие теперь минуты досуга животные гуляли вокруг недостроенной мельницы. Восхищались прочными ровными стенами, дивились сами себе: вот ведь какое величественное здание построили. Лишь старый Вениамин не разделял общего восторга, как водится, помалкивал и лишь изредка загадочно намекал: поживем, мол, увидим, ослиный век, он долгий.

Наступил ноябрь. С юго-запада налетели буйные ветры. Строительство пришлось прекратить: из-за сырости цемент не застывал. В довершение всего однажды ночью поднялась такая сильная буря, что стены сараев сотрясались, а с амбарной крыши кое-где сорвало черепицу. Куры проснулись, в ужасе раскудахтались: им всем разом приснилось, что неподалеку пальнули из ружья. Когда поутру животные высыпали наружу, флагшток валялся на земле, а вяз в конце сада выдернуло с корнем, как редиску. Но это было еще не все, и в отчаянии животные заголосили. Страшное зрелище открылось их глазам. Ветряная мельница лежала в руинах.

Все как один они бросились к ней. Наполеон, хотя обычно он

считал ниже своего достоинства бегать, во весь опор мчался впереди. Да, ветряная мельница, в которую они вложили столько труда, была разрушена до основания, а камень, разбитый и привезенный ценой таких усилий, разметан. Онемев, животные подавленно смотрели на груды камней. Наполеон молча расхаживал взад-вперед, изредка тыкался в землю пятачком – принюхивался. Хвост его раскрутился, он резко поводил им из стороны в сторону, что означало напряженную работу мысли. Внезапно он остановился как вкопанный: видимо, выработал наконец решение.

– Товарищи, – не повышая голоса, сказал он, – знаете ли вы, кто в этом виноват? Знаете ли вы, кто этот вредитель, который подкрался ночью и разрушил нашу мельницу? Обвал! – загремел он. – Обвал – вот кто ее разрушил! Кипя бешеной злобой, он задался предательской целью отбросить нас назад и отомстить за свое позорное изгнание; прокравшись под покровом темноты, этот предатель уничтожил плоды наших чуть не годовых трудов. Товарищи, я не сходя с места приговариваю Обвала к смерти. Тот, кто приведет приговор в исполнение, будет награжден медалью «Герой Скотного Двора» II степени и ведром яблок. Тот, кто захватит его живым, получит два ведра яблок.

Когда животные узнали о злодеяниях Обвала, их возмущению не было предела. Даже от него они не ожидали такой низости. Вне себя от гнева, они, перекрикивая друг друга, изыскивали способы изловить Обвала, на случай если ему вздумается вернуться. И чуть не сразу на выгоне, неподалеку от взгорка, обнаружились следы свиных копыт. Цепочка следов тянулась метров десять, не больше – следы, казалось, ведут к дыре в изгороди. Наполеон принюхался к ним и объявил, что это следы Обвала. Не иначе как Обвал, предположил Наполеон, скрывается в Плутнях.

– Промедление смерти подобно! – сказал Наполеон, когда следы были изучены. – За работу, товарищи! Без проволочек, сегодня же мы примемся восстанавливать ветряную мельницу, будем строить всю зиму, невзирая на любые преграды. Пусть этот жалкий предатель знает, что ему нас не остановить! Помните, товарищи, ни что не помешает нам осуществить наши планы! Они будут выполнены день в день. Вперед, товарищи! Да здравствует ветряная мельница! Да здравствует Скотный Двор!

# Глава VII

Зима выдалась суровая. Бури сменились слякотью, снегом, затем грянули морозы, вот уж и февраль на исходе, а они все еще не отступили. Животные не щадя сил трудились над восстановлением ветряной мельницы: ведь человеческое окружение не спускало с них глаз, и, если они не построят ветряную мельницу к намеченному сроку, легко себе представить, какое ликование поднимется в стане злопыхателей-людей.

В пику животным люди притворялись, будто не верят, что ветряную мельницу разрушил Обвал; они утверждали, что нельзя было делать такие тонкие стены. Но животные знали, что не в этом суть. На всякий случай все же решили сделать стены не в сорок сантиметров, а в метр толщиной, ну а для этого, естественно, потребуется куда больше камня. Карьер долго стоял под снегом, и начать работы было невозможно. Затем пошли сухие морозные дни, и дело продвинулось, но работать было так тяжело, что они даже пали духом. Их постоянно мучил холод, а нередко и голод. Лишь Боец и Кашка не теряли бодрости. Стукач красноречиво доказывал им, что труд у них на ферме – дело чести и доблести. Но животных вдохновляли не его речи, а пример не знающего усталости Бойца с его неизменным «Я буду работать еще упорнее!».

В январе стало не хватать кормов, выдачу зерна сильно урезали и скотине объявили, что взамен зерна выдадут побольше картошки. И тут обнаружилось, что почти весь урожай картошки замерз в буртах – их не прикрыли на зиму. Чуть не вся картошка почернела, потекла. Животным случалось по целым дням не есть ничего, кроме мякины и кормовой свеклы. Над фермой нависла угроза голода.

Никак нельзя было допустить, чтобы этот факт стал достоянием человеческого окружения. Раззадоренные неудачей с ветряной мельницей, люди стали с новой силой клеветать на Скотный Двор. Они опять вытащили на свет божий старые выдумки, будто животные подыхают от голода и болезней, будто у них вечные междоусобицы и они докатились до пожирания себе подобных и детоубийства. Наполеон понимал: если люди проведают, как у них плохо с кормами, еще неизвестно, к чему это приведет. И решил противодействовать, использовав для этого мистера Сопли. До сих пор во время еженедельных визитов мистера Сопли на Скотный Двор животные держались от него на почтительном расстоянии, теперь же кое-кому из доверенных животных, по преимуществу овцам, велели, как бы невзначай

приблизившись к мистеру Сопли, обронить, что пайки, мол, сильно увеличились. Мало того, Наполеон распорядился наполнить почти пустые сусеки в житнице до краев песком, а сверху присыпать песок остатками зерна и муки. Под удобным предлогом мистера Сопли провели по житнице так, чтобы он мог невзначай бросить взгляд на сусеки. Он проглотил наживку и доложил людям, что на Скотном Дворе с кормами полный порядок.

И все равно на исходе января стало ясно, что хочешь не хочешь, а зерно придется где-то добывать. Наполеон теперь редко выходил, он засел в хозяйском доме – там его и с парадного, и с черного хода охраняли устрашающего вида псы. Редкие его выходы обставлялись в высшей степени торжественно: за ним неизменно следовала свита из шестерых псов, которые окружали его плотным кольцом и грозно рычали на каждого, кто осмеливался к нему приблизиться. Он и воскресные-то собрания перестал посещать, а наряды перепоручал распределять кому-нибудь из свиней, чаще всего Стукачу.

И вот однажды на воскресном собрании Стукач объявил, что курам – а они только-только снова начали нестись – придется сдать яйца. Мистер Сопли предложил Наполеону заключить договор на поставку четырехсот яиц в неделю. Деньги, вырученные за яйца, пойдут на покупку зерна и муки, так они продержатся до лета, а там уж жить станет легче.

Куры подняли дикий крик. Их, правда, предупреждали, что от них может потребоваться такая жертва, но они не верили, что до этого дойдет. Они уже готовились высиживать цыплят; как-никак скоро весна, и, если у них заберут сейчас яйца, заявили они, это равносильно убийству. Впервые с тех пор, как прогнали Джонса, на Скотном Дворе случилось восстание не восстание, но что-то вроде. Под предводительством трех молоденьких черных минорок куры решительно воспротивились приказам Наполеона. И как – взобравшись на балки, откладывали там яйца, и те, естественно, падали и разбивались вдребезги. Наполеон подавил сопротивление молниеносно и беспощадно. Он распорядился лишить кур пайка и приказал казнить каждого, кто посмеет передать хоть одно зерно курице. Псы следили, чтобы приказ Наполеона не нарушался. Куры продержались пять дней, потом сдались и стали класть яйца где положено. Девять кур сдохли. Их схоронили в саду и объявили, что они умерли от кокцидиоза. Мистер Сопли ничего об этих событиях не узнал, ну а яйца доставлялись своевременно – и бакалейщик раз в неделю присылал за ними фургон.

Обвал меж тем не показывался. Поговаривали, что он

прячется на соседней ферме, не то в Плутнях, не то в Склоках. Отношения Наполеона с соседями слегка улучшились. Дело в том, что на Скотном Дворе обнаружился штабель леса – его сложили здесь лет десять назад, когда расчищали буковую рощицу. Лес хорошо вылежался, и Сопли посоветовал Наполеону продать его. Оба, и мистер Калмингтон, и мистер Питер, зарились на бревна. Наполеон колебался, не знал, кого предпочесть. Было замечено: когда Наполеон намеревался заключить соглашение с мистером Питером, объявлялось, что Обвал прячется в Плутнях, если же Наполеон склонялся к союзу с Калмингтоном, говорилось, что Обвал скрывается в Склоках.

Ранней весной, как гром среди ясного неба, ферму потрясла весть. Оказывается, Обвал по ночам тайно проникал на ферму. Животные взбудоражились, по ночам ворочались без сна в стойлах. Рассказывали, что каждую ночь Обвал прокрадывается под покровом темноты и занимается вредительством. Крадет зерно, переворачивает подойники, давит яйца, топчет посевы, грызет кору на деревьях в саду. Какие бы неполадки ни случались на ферме, в них неизменно винили Обвала. Разбивалось ли окно, засорялась ли труба – обязательно кто-нибудь заявлял, что тут не обошлось без Обвала: не иначе как он приходил ночью, и когда пропал ключ от житницы, все были убеждены, что Обвал бросил его в колодец. И вот что любопытно: позже ключ отыскался под мешком муки, но животные по-прежнему приписывали пропажу Обвалу. Коровы дружно жаловались, что Обвал пробирается в коровник и доит их во сне. И про крыс, от которых этой зимой не стало житья, тоже говорили, что они в сговоре с Обвалом.

Наполеон постановил досконально расследовать деятельность Обвала. В сопровождении эскорта псов он обошел и тщательно осмотрел все службы, за ними чуть поодаль следовали остальные животные. Каждые несколько шагов Наполеон останавливался, приникал к земле, искал следы Обвала – Наполеон говорил, что чует их нюхом. Наполеон обнюхал во всех углах амбар, коровник, курятник, огород и чуть не везде находил следы Обвала. Он прикладывал пятачок к земле, раз-другой-третий глубоко втягивал воздух и леденящим кровь голосом возвещал: «Обвал! Он был здесь! Я чую его запах!» – и при слове «Обвал» псы рычали так, что кровь стыла в жилах, и скалили зубы.

Животные были запуганы до предела. Их не оставляло ощущение, что незримый Обвал всесилен, что им проникнут самый воздух, что он грозит им неисчислимыми бедствиями. Вечером Стукач собрал животных и с убитым видом сказал, что должен сообщить им важное известие.

– Товарищи! – кричал Стукач, возбужденно приплясывая. – Нами обнаружено страшное преступление. Обвал запродался Питеру из Склок, который и сейчас не оставил свои планы напасть на нас и захватить нашу ферму! Обвал будет у него проводником. Но за Обвалом числятся дела и похуже. Мы думали, что Обвала побудили затеять смуту тщеславие и жажда власти. Мы жестоко ошибались, товарищи. Знаете, в чем истинная причина? Обвал с самого начала вступил в сговор с Джонсом! Обвал всегда был тайным агентом Джонса. Доказательство тому – забытый им впопыхах документ, который мы только что обнаружили. Я считаю, товарищи, что это проливает свет на многие факты. Разве мы не видели, как Обвал добивался – к счастью, безуспешно – нашего разгрома в Бою под коровником?

Животные остолбенели. Перед таким злодейством померкло даже разрушение ветряной мельницы. И все же это никак не укладывалось ни у одного из них в голове. Им помнилось, во всяком случае, вроде бы помнилось, что Обвал первым бросился на врага в Бою под коровником, что он сплачивал и подбадривал их на каждом шагу и не отступил, даже когда Джонс всадил заряд дроби ему в спину. Поначалу они никак не могли взять в толк: если Обвал продался Джонсу, как это увязать с его храбрым поведением в бою? Даже Боец, а его редко посещали сомнения, и тот был озадачен. Он лег, подоткнул под себя копыта, прикрыл глаза и ценой невероятных усилий сформулировал наконец свои мысли.

– Не верю, – сказал он. – Обвал храбро дрался в Бою под коровником. Я видел это своими глазами. Разве мы не присвоили ему за этот бой звание Героя Скотного Двора I степени?

– Мы допустили ошибку, товарищ. Как стало известно из обнаруженных нами новых секретных документов, Обвал заманил нас в ловушку, чтобы обречь на гибель.

– Но его ранило, – сказал Боец. – Все видели, что он истекал кровью.

– Это было одним из условий их соглашения, – напирал Стукач. – Пуля Джонса только оцарапала Обвала. Я показал бы вам документ – если бы вы могли его прочесть, где Обвал черным по белому пишет об этом. Они с Джонсом уговорились, что в решающий момент Обвал подаст сигнал к отступлению и оставит поле боя врагу. И ведь этот план едва не осуществился, скажу больше, товарищи, он наверняка бы осуществился, если бы не наш доблестный вождь товарищ Наполеон. Разве вы не помните: в тот самый момент, когда Джонс со своими работниками проникли во двор, Обвал обратился в бегство и многих увлек за

собой? Разве вы не помните: когда всех охватила паника и поражение казалось неминуемым, товарищ Наполеон с криком «Смерть человечеству!» бросился вперед и впился зубами Джонсу в ногу? Уж это-то, товарищи, вы не можете не помнить!

Теперь, когда Стукач так наглядно все описал, животным что-то такое припомнилось. Во всяком случае, им помнилось, что в решительный момент Обвал повернулся и бросился бежать. Бойца все же не оставляли сомнения.

– Я не верю, что Обвал с самого начала вступил на путь предательства, – подытожил он свои мысли. – Потом – другое дело, потом он мог на него скатиться. Но я верю, что в Бою под коровником он сражался с нами плечом к плечу.

– Наш вождь товарищ Наполеон, – раздельно и веско сказал Стукач, – решительно, повторяю, товарищи, решительно заявил, что Обвал продался Джонсу с самого начала, да, да, еще задолго до восстания, когда мы и не помышляли о нем.

– Тогда другое дело, – сказал Боец. – Если так говорит товарищ Наполеон, значит, так оно и есть.

– Вот это правильный подход, товарищ! – выкрикнул Стукач, но было замечено, что его бегающие глазки со злобой впились в Бойца. Он уже собрался было уходить, но в последний момент задержался. – Я предупреждаю, – внушительно добавил он, – что вы должны быть бдительными. Есть основания полагать, что агенты Обвала и сейчас рыщут среди нас!

А спустя четыре дня ближе к вечеру Наполеон велел животным собраться во дворе. Когда все сошлись, Наполеон при медалях (недавно он присвоил себе звание Героя Скотного Двора I степени и Героя Скотного Двора II степени), в сопровождении девяти здоровенных псов, которые вились вокруг него и рычали так, что у животных бегали по коже мурашки, вышел из хозяйского дома. Животные примолкли, сжались – будто предчувствуя, что надвигается нечто страшное.

Наполеон грозно обозрел собравшихся и пронзительно взвизгнул. Псы метнулись вперед, схватили четырех подсвинков за уши и, верещащих от боли и страха, приволокли к ногам Наполеона. У подсвинков из порванных ушей капала кровь, от запаха крови псы словно взбесились. Трое из них бросились на Бойца, чем привели животных в полное недоумение. Но Боец не оплошал, он взлягнул ногой, поддел одного из псов на лету и здоровенным копытом пригвоздил к земле. Пес молил о пощаде, двое его товарищей, поджав хвосты, бежали. Боец взглядом спросил у Наполеона, что делать с псом – раздавить или отпустить. Наполеон, заметно изменившись в лице, строго приказал Бойцу отпустить пса, Боец приподнял копыто, и

помятый пес уполз скуля.

Вскоре суматоха улеглась. Четверо подсвинков, трепеща, ожидали решения своей участи, весь их вид выражал глубокую вину, Наполеон призвал их признаться в своих преступлениях. Это были те самые подсвинки, которые возмутились, когда Наполеон отменил воскресные собрания, – кто же еще. Они тут же признали, что после изгнания Обвала вступили с ним в тайные сношения, помогли ему разрушить ветряную мельницу и вошли с ним в сговор с целью отдать Скотный Двор в руки мистера Питера. Обвал, добавили они, открыл им, что издавна состоял на службе у Джонса. После чего они замолчали, псы вмиг за грызли всех четверых, а Наполеон наводящим ужас голосом спросил, есть ли среди животных такие, которые чувствуют за собой вину.

Три курицы, зачинщицы яичного бунта, выступили вперед и заявили, что Обвал являлся им во сне и подстрекал их не подчиняться Наполеоновым приказам. Их тоже зарезали. Затем вперед вышел гусь и сознался, что, убирая в прошлом году урожай, утаил шесть колосков, а ночью их съел. Затем овца созналась, что помочилась в пруд, и сказала, что подбил ее на это опять же Обвал, а две другие овцы сознались, что угробили старого барана, особо преданного сторонника Наполеона; барана бил кашель, а они нарочно гоняли его вокруг костра. Их тоже прикончили прямо на месте. Признания чередовались с казнями. Вскоре у ног Наполеона громоздилась гора трупов, а в воздухе сгустился запах крови, забытый животными с тех самых пор, как они прогнали Джонса.

Когда казни кончились, уцелевшие животные, за исключением свиней и собак, сбившись в кучу, побрели со двора. Потерянные, раздавленные. Они не понимали, что их больше потрясло – предательство товарищей, вступивших в сговор с Обвалом, или суровое возмездие, которое настигло их. Прежде им тоже случалось быть свидетелями кровопролитий, и не менее жестоких, но теперь свои убивали своих, а это – и тут все были едины – куда хуже. С тех пор как они прогнали Джонса и вплоть до сегодняшнего дня не было ни одного убийства. Крысы и той не убили. Они взобрались на взгорок и все, как один, легли у недостроенной мельницы, тесно прижавшись друг к другу, – их знобило: Кашка, Мона, Вениамин, коровы, овцы, вся птица – гуси и куры, все, кроме кошки. Она, перед тем как Наполеон велел собраться, куда-то запропастилась. Поначалу все молчали. Не лег один Боец. Он переминался с ноги на ногу, хлестал себя длинным черным хвостом по бокам, время от времени недоуменно ржал. И наконец подытожил свои мысли:

– Ничего не понимаю. Никогда бы не поверил, что такое

может случиться на нашей ферме. Наверное, мы сами виноваты. Я вижу единственный выход – работать еще упорнее. Отныне я буду вставать не на три четверти часа, а на час раньше.

И грузно зарысил в каменоломню. А там набрал камня и до ночи отвез сначала одну, потом другую телегу к ветряной мельнице.

Животные сбились вокруг Кашки, но разговаривать не разговаривали. Со взгорка им открылись дали. Отсюда как на ладони была видна чуть не вся округа: выгон, тянувшийся к большаку, луг, рощица, пруд, куда они ходили на водопой, вспаханное поле, где зеленели густые всходы пшеницы, красные крыши служб, над трубами которых курился дымок. Стоял погожий весенний вечер. Лучи заходящего солнца золотили траву, на живых изгородях проклюнулись почки. Любовь к своей ферме – и тут они не без удивления вспомнили, что это же их ферма, она же отошла к ним! – нахлынула на них с небывалой силой. Кашка поглядела вниз, глаза ее заволоклись слезами. Умей она выразить свои мысли, она бы сказала: разве к этому они стремились, когда много лет назад решили во что бы то ни стало свергнуть род людской? Разве кровавые казни виделись им в ту ночь, когда старый Главарь впервые призвал их к восстанию? Если ей тогда и рисовались картины будущего, она представляла его себе союзом скотины, – где нет места голоду и угнетению, где все равны, где труд – дело чести, где сильный ограждает слабого, как она оградила ногой отбившихся от матери утят в ту ночь, когда Главарь произнес свою речь. Но ничего этого нет, и наступило время – а почему, она не понимает, – когда никто не решается говорить в открытую, когда повсюду рыщут свирепые псы и когда твои товарищи сознаются в чудовищных преступлениях и их рвут на части на твоих глазах. У нее и в мыслях не было ни восстать, ни даже ослушаться. Она понимала, что при всем при том им живется не в пример лучше, чем во времена Джонса, и что главное сейчас – не допустить возвращения людей. Что бы ни случилось, она останется верной их делу, будет работать не щадя сил, выполнять все, что от нее потребуют, и идти по пути, намеченному Наполеоном. Все так, но разве об этом она и ее товарищи мечтали, разве для этого они трудились? Нет, не для этого они строили ветряную мельницу, не для этого, рискуя жизнью, шли под пули Джонса. Вот какие мысли одолевали Кашку, хоть она и не умела их выразить.

В конце концов, так и не найдя слов, она, чтобы дать выход охватившим ее чувствам, запела «Твари Англии». Животные дружно подхватили песню и пропели ее три раза кряду. Пели стройно, но протяжно и заунывно, никогда раньше они так не

пели.

Только они спели песню в третий раз, как на взгорок в сопровождении двух псов поднялся Стукач, – судя по его виду, у него было важное известие. Стукач объявил, что особым указом товарища Наполеона «Твари Англии» отменяются. Отныне на их исполнение наложен запрет.

Животные оторопели.

– Почему? – не удержалась от вопроса Мона.

– Потому что эта песня отжила свое время, – многозначительно сказал Стукач. – «Твари Англии» звали к восстанию. Но восстание завершено. Послед ним его этапом была сегодняшняя казнь изменников. Мы сокрушили внутреннего и внешнего врага. «Твари Англии» выражали нашу мечту об обществе будущего, о лучшем обществе. Сейчас такое общество по строено. И этой песне некуда нас звать.

Как животные ни были запуганы, наверняка нашлись бы среди них и такие, которые возмутились бы, но овцы завели свое неизменное «Четыре ноги хорошо, две – плохо» и блеяли минут десять, так что какие уж тут дискуссии.

И «Твари Англии» больше никогда не пели. Вместо них поэт Последыш сочинил другую песню, начиналась она так:

Наш Скотный Двор, наш Скотный Двор,
Твоим врагам я дам отпор.

Ее пели каждое воскресенье после поднятия флага. Но животные считали, что и мотив, и слова ни в какое сравнение не идут с «Тварями Англии».

# Глава VIII

А спустя несколько дней после казней, когда животные понемногу отошли от сковавшего их страха, кому-то вспомнилось, во всяком случае, вроде бы вспомнилось, что шестая заповедь гласит: «Животное да не убьет другое животное!» Все чувствовали, что недавние убийства противоречат шестой заповеди, хоть и остерегались говорить об этом при свиньях и собаках. Кашка попросила Вениамина прочесть ей шестую заповедь. Она гласила: «Животное да не убьет другое животное без причины». Почему-то последние два слова изгладились у животных из памяти. Зато они поняли, что шестую заповедь не преступили: ведь убили изменников, которые вошли в сговор с Обвалом, – это ли не причина, и вполне веская.

Последний год они работали еще упорнее, чем предыдущий. Восстановить ветряную мельницу, вдобавок со стенами вдвое толще прежних, закончить ее к намеченному сроку, учитывая, что работы по хозяйству с них тоже никто не снимал, стоило невероятных усилий. Бывали времена, когда им казалось, что они работают дольше, а кормят их не лучше, чем при Джонсе. Поутру в воскресенье Стукач, придерживая длинную полоску бумаги ножкой, зачитывал им столбцы цифр, доказывавшие, что производство всех видов кормов возросло когда на двести, когда на триста, а когда и на пятьсот процентов. Причин не доверять Стукачу они не видели, особенно если учесть, что успели основательно забыть, как им жилось до восстания. Хотя при всем том бывали дни, когда они предпочли бы, чтобы их кормили не цифрами, а чем-то более существенным.

Все указания теперь передавались через Стукача или через кого-нибудь еще из свиней. Сам Наполеон показывался не чаще чем раз в полмесяца. Когда же наконец он появлялся, мало того что позади него тянулась псиная свита, но еще и впереди на манер глашатая выступал черный петушок – он предварял Наполеоновы речи оглушительным «кукареку». Рассказывали, что в хозяйском доме Наполеон занимает отдельные покои. Ел он тоже один, за едой ему прислуживали двое псов, и ел он на фарфоровом сервизе, который при Джонсе вынимался из горки в гостиной лишь в торжественных случаях. Было также объявлено, что ружейным залпом, помимо двух других дат, будет отмечаться и день рождения Наполеона.

Наполеона теперь называли не просто Наполеоном, а лишь сугубо официально – нашим вождем товарищем Наполеоном, и свиньи старались перещеголять одна другую, изобретая для него

все новые титулы: Отец Животных Всего Мира, Гроза Рода Человеческого, Мудрый Пастырь, Лучший Друг Утят и тому подобные. Стукач произносил речи о Наполеоновой мудрости, доброте ко всем животным и особенно к угнетенным животным соседних ферм, прозябавшим в невежестве и рабстве. Стало привычным любое достижение, любую удачу приписывать Наполеону. Нередко можно было услышать, как одна курица говорит другой: «Под водительством товарища Наполеона мне удалось снести пять яиц за шесть дней» – или как две коровы на водопое восхищаются: «До чего же вкусная сегодня вода, и все благодаря мудрому руководству нашего вождя товарища Наполеона». Лучше всего чувства скотины выразило стихотворение Последыша под названием «Товарищ Наполеон»; вот оно:

Осиротелых отец!
Радости нашей кузнец!
Хозяин помойных ведер!
Как солнце на небосклон
Взошел ты! Я видеть рад
Спокойный твой, твердый взгляд,
Не ведаешь ты преград,
Товарищ Наполеон!

Руководитель наш,
Нам все, что мы любим, дашь,
Корм – дважды набить живот,
Подстилку, чтоб слаще сон;
Вся тварь в хлеву улеглась,
Один ты в полночный час
Не спишь, заботясь о нас,
Товарищ Наполеон!

Пускай поросенок мой
С поллитру всего собой,
И все же обязан он
Отнюдь не отца, не мать,
А лишь тебя почитать
И преданно пропищать:
«Товарищ Наполеон!»

Наполеон стихотворение одобрил и велел начертать его на другом торце большого амбара, напротив семи заповедей. Венчал стихотворение портрет Наполеона в профиль работы Стукача,

выполненный белой краской.

Тем временем при посредстве мистера Сопли Наполеон затеял запутанные переговоры с Питером и Калмингтоном. Лес все еще не был продан. Из двоих сильнее зарился на штабель Питер, но при этом настоящей цены не давал. И опять пошли слухи, что Питер со своими работниками готовится напасть на Скотный Двор, разрушить ветряную мельницу, которая вызывала у него бешеную зависть. Передавали, что Обвал по-прежнему скрывается в Склоках. В разгар лета стало известно: три курицы добровольно признались, что Обвал подбил их устроить заговор с целью убить Наполеона, – животных это сообщение очень встревожило. Кур тут же казнили и приняли дополнительные меры, обеспечивающие безопасность Наполеона. Теперь его кровать по ночам охраняли четыре пса, по псу на каждый угол, а поросенку по имени Буркало поручили, чтобы Наполеона не отравили, отведывать его еду.

Приблизительно в эту же пору стало известно, что Наполеон договорился продать лес мистеру Калмингтону, а также учредить постоянный обмен некоторыми товарами между Скотным Двором и Плутнями. Отношения между Наполеоном и Калмингтоном, хоть они и велись исключительно через Сопли, стали чуть ли не дружественными. У животных Калмингтон, как и люди вообще, доверия не вызывал, но они предпочитали его Питеру, которого ненавидели и боялись. Чем ближе было к завершению строительство ветряной мельницы, а его предполагали закончить к осени, тем упорнее становились слухи о том, что Питер готовит вероломное нападение. Поговаривали, что Питер собирается послать на Скотный Двор двадцать работников, вооруженных ружьями, что он подкупил власти и полицию, и если он прикарманит купчую крепость на Скотный Двор, они пальцем не пошевельнут. Мало того, по сведениям, просочившимся из Склок, Питер зверски измывался над своей скотиной. Он забил насмерть старую клячу, морил голодом коров, кинул в топку пса, а по вечерам стравливал петухов, и не просто стравливал, а еще привязывал им к шпорам обломки бритвенных лезвий – так он развлекался. У животных кипела кровь, когда они слышали, как терзают их товарищей, и они рвались – пусть только им разрешат – пойти в поход на Склоки, вы гнать оттуда людей и дать тамошним животным волю. Но Стукач советовал набраться терпения и положиться на прозорливость товарища Наполеона.

Тем не менее во всех клокотал гнев на Питера. И однажды в воскресенье Наполеон пришел в амбар и объяснил скотине, что никогда не собирался продавать лес Питеру: иметь дело с подобным мерзавцем значило бы уронить себя. Голубям, которых

по-прежнему рассылали призывать животных соседних ферм к восстанию, велели облетать Плутни стороной, а лозунг «Смерть человечеству!» заменить на лозунг «Смерть Питеру!». На исходе лета было раскрыто еще одно злодеяние Обвала. Пшеница густо заросла сорняками – и что же вышло на поверку: оказывается, Обвал, проникавший по ночам на ферму, подмешал к семенам пшеницы семена сорняков. Молодой гусак, посвященный в этот заговор, пришел с повинной к Стукачу и тут же покончил жизнь самоубийством, наглотавшись ягод красавки. Животных также уведомили, что Обвал никогда – и откуда только они это взяли? – не получал Героя Скотного Двора I степени. Это всего-навсего легенда, которую распространил вскоре после Боя под коровником сам Обвал. Его не только не наградили, а еще и сурово наказали за проявленную в бою трусость. И опять же нашлись животные, которых это сообщение привело в некоторое замешательство. Но Стукач быстро внушил им, что их просто-напросто подводит память.

Осенью ценой невероятного, непосильного труда – ведь почти в то же время проходила уборка урожая – строительство ветряной мельницы закончили. Предстояло еще установить оборудование, и Сопли уже вел переговоры о его покупке, но само строительство завершили. Невзирая на все трудности, несмотря на отсутствие опыта и техники, на преследующие их неудачи, на вредительство Обвала, они закончили работу в намеченный срок – день в день! Усталые, но гордые животные ходили вокруг мельницы, и она казалась им еще более прекрасной, чем тогда, когда они возвели ее впервые. Не говоря уж о том, что стены мельницы на этот раз были вдвое толще. Теперь без взрывчатки их не разрушить! И когда они думали, сколько трудов положили, причем не падали духом, хоть и было отчего, а также о том, как изменится их жизнь, когда замашут крылья мельницы и заработает генератор, так вот, когда они думали обо всем этом, они забывали об усталости и с ликующими криками пускались в пляс вокруг ветряной мельницы. Даже Наполеон и тот в сопровождении псов и Стукача явился осмотреть мельницу, лично поздравил скотину с успешным завершением строительства и объявил, что мельнице будет присвоено его имя.

А спустя два дня животных созвали в амбар на внеочередное собрание. Они не поверили своим ушам, когда Наполеон объявил, что продал лес Питеру. Завтра Питер пришлет фургоны и начнет перевозить лес. Оказывается, пока Наполеон для виду дружил с Калмингтоном, он вел тайные переговоры с Питером.

Отношения с Плутнями были прерваны, Калмингтону послали оскорбительную ноту. Голубям запретили садиться в

Склоках, лозунг «Смерть Питеру!» отменили и велели провозглашать «Смерть Калмингтону!». Далее Наполеон заверил животных, что слухи о готовящемся нападении на Скотный Двор не имеют под собой почвы и что Питер далеко не так жестоко обращается со своей скотиной, как о том рассказывают. Эти слухи скорее всего распускают Обвал и его подручные. Выяснилось, что Обвал не только никогда не прятался в Склоках, но и вообще там не был; он живет, и, как говорят, припеваючи, в Плутнях: ведь он давным-давно продался Калмингтону.

Свиньи восхваляли до небес Наполеонову мудрость. Заведя для виду дружбу с Калмингтоном, он вынудил Питера дать за лес на двенадцать фунтов больше. Но непревзойденная прозорливость Наполеона, сказал Стукач, проявилась в том, что он не доверяет никому, даже Питеру. Питер хотел заплатить за лес чеком, ну а чек ведь всего лишь бумажка, пусть на ней и стоит обязательство заплатить. Но Наполеона не провести, он потребовал, чтобы Питер заплатил не каким-то чеком, а купюрами по пять фунтов и не после того, как бревна увезут, а до. Кстати, Питер уже выложил денежки, их вполне хватит на оборудование для ветряной мельницы.

Меж тем лес спешно увозили. Когда на дворе не осталось ни одного бревна, животных созвали в амбар на внеочередное собрание и показали им полученные от Питера купюры. Наполеон при обеих медалях возлежал на раскиданной по помосту соломе, милостиво улыбаясь, а рядом с ним, на фарфоровом блюде с хозяйской кухни, помещалась аккуратная пачечка денег. Животные гуськом тянулись мимо, и каждый мог удовлетворить свое любопытство. Боец понюхал купюры – от его дыхания тоненькие белесые листочки зашевелились, зашуршали.

А три дня спустя поднялся чудовищный тарарам. Бледный как смерть Сопли примчался на велосипеде, бросил его во дворе и опрометью кинулся в хозяйский дом. И чуть не тут же из Наполеоновых покоев донесся приглушенный вопль ярости. Новости, как лесной пожар, распространились по Скотному Двору. Купюры оказались фальшивыми! Питер получил бревна задаром!

Наполеон тут же созвал животных и леденящим кровь голосом провозгласил смертный приговор Питеру. «Когда мы поймаем Питера, – сказал он, – мы сварим его живьем». И сразу предупредил, что после такого вероломства надо готовиться к худшему. Не сегодня завтра Питер и его работники осуществят нападение на Скотный Двор, которого они давно ожидали. На подходе к Скотному Двору выставили часовых. Помимо того, в Плутни отправили четырех голубей с миролюбивым посланием,

надеясь таким образом восстановить добрые отношения с Калмингтоном.

Но на следующее же утро Питер напал на Скотный Двор. Животные собирались завтракать, когда примчались дозорные и сообщили, что Питер и его приспешники миновали тесовые ворота и идут к Скотному Двору. Животные не оробели, выступили им навстречу, но на этот раз победа далась им нелегко, не то что в Бою под коровником. На них шли полтора десятка человек, вооруженных полдюжиной ружей; приблизившись на полсотни метров, они открыли огонь. Оглушительные залпы, жгучий град дроби – такого животные не ожидали, и, как ни подбадривали их Наполеон и Боец, они отступили. Многие были уже ранены. Попрятавшись по сараям, они осторожно выглядывали оттуда сквозь щели и дыры в досках. Весь длинный выгон вместе с ветряной мельницей отошел в руки захватчиков. Даже сам Наполеон, похоже, растерялся. Он молча расхаживал взад-вперед, поводя из стороны в сторону раскрутившимся хвостом. Время от времени его глаза с тоской устремлялись на Плутни. Приди Калмингтон со своими людьми им на помощь, они бы еще смогли отбросить захватчиков. Но тут вернулись четверо голубей, посланных накануне к Калмингтону. Один из них держал в клюве клочок бумаги. На нем рукой Калмингтона было написано: «Так тебе и надо».

А Питер и его работники меж тем уже подступали к ветряной мельнице. Животные не спускали с них глаз. Ропот ужаса пробежал по рядам. Двое работников притащили лом и кувалду. Они собирались разрушить мельницу.

– Не бывать этому! – крикнул Наполеон. – У нашей мельницы такие толстые стены, что им с ней не совладать. Ее и за неделю не снести. Мужайтесь, товарищи!

Но Вениамин пристально следил за работниками. Двое с кувалдой и ломом пробивали дыру прямо над основанием мельницы. Вениамин лениво поматывал длинной мордой – можно подумать, его забавлял такой поворот событий.

– Именно этого я и ожидал, – сказал он. – Знаете, что сейчас будет? Они засыплют дыру порохом.

Животные замерли в испуге. Теперь-то они и подавно не решились бы выйти из укрытий. Через несколько минут работники разбежались. Раздался оглушительный взрыв. Голуби взмыли в воздух, остальные животные, за исключением Наполеона, пали ничком и зарыли морды в землю. Когда они поднялись, над взгорком стояло облако черного дыма. Постепенно ветерок разогнал его. Мельница исчезла!

И тут к животным вернулось мужество. Гнусное злодейство

вызвало у них такой приступ ярости, что они побороли страх и отчаяние. Жажда мести обуяла животных, и, не дожидаясь приказаний, они с криками дружно бросились на врага. На этот раз жгучий град дробин не обратил их вспять. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Люди безостановочно палили из ружей, а когда животные приблизились, принялись охаживать их дубинками и коваными сапогами. Корова, три овцы и два гуся были убиты наповал, едва ли не все остальные получили ранения. Даже у Наполеона, хоть он и руководил боем из тыла, дробиной срезало кончик хвоста. Но и людям тоже здорово досталось. Троим проломил копытом голову Боец, четвертому вспорола рогом живот корова, с пятого чуть не сорвали штаны Роза и Ромашка. А когда девять псов из личной охраны Наполеона, которым он приказал обойти людей с фланга, со свирепым лаем бросились на них, людей охватила паника. Они поняли – им грозит окружение. Питер кричал, чтобы они отступили, пока кольцо не сомкнулось, и вот уже трусливый враг удирал во весь опор. Животные гнали людей до самой границы и пинали и тогда, когда те уже продирались сквозь терновую изгородь.

Победа осталась за животными, но они валились от усталости, из ран их текла кровь. Кое-как доковыляли они до Скотного Двора. Вид трупов дорогих сердцу товарищей, разбросанных там и сям по полю, вы звал у многих слезы на глазах. На месте, где недавно высилась ветряная мельница, они постояли в скорбном молчании. Да, от мельницы не осталось и следа, все труды пошли насмарку! Даже основание и то было почти разрушено. Когда восстанавливали мельницу в прошлый раз, они хотя бы могли вновь использовать камень, а теперь и этого нет. Теперь никаких камней поблизости не было. Взрыв разбросал их далеко-далеко, на сотни метров. Можно было подумать, что мельницы никогда не было и в помине.

Уже на подходе к Скотному Двору к ним, крутя хвостиком, подскочил рассиявшийся Стукач, который почему-то воздержался от участия в бою. И тут же в саду грянул залп – интересно, что сегодня за торжество?

– В честь чего пальба? – спросил Боец.

– В честь нашей победы! – выкрикнул Стукач.

– Какой победы? – спросил Боец.

Колени у него были ободраны, в задней ноге застрял заряд дроби, он потерял подкову, повредил копыто.

– Какой победы, товарищ? Да разве мы не освободили нашу землю, священную землю Скотного Двора, от захватчиков?

– Но они разрушили ветряную мельницу, а мы целых два года строили ее!

– Ну и что? Построим другую. Построим хоть десять мельниц, стоит нам только захотеть. А ты, товарищ, похоже, не понимаешь, какой подвиг мы совершили. Ведь враг захватил эту землю, ту самую землю, на которой мы с тобой стоим. А мы благодаря мудрому водительству товарища Наполеона завоевали ее пядь за пядью.

– Это что же получается – мы завоевали свою же землю? – спросил Боец.

– В этом и есть наша победа, – сказал Стукач.

Они кое-как доковыляли до фермы. Застрявшие под шкурой дробины жгли огнем ногу Бойца. Он понимал, сколько трудов потребуется, чтобы восстановить ветряную мельницу – ведь она была разрушена до основания, – и в душе уже готовился к выполнению этой задачи. Но тут он в первый раз осознал, что ему стукнуло одиннадцать и что силы у него уже не те.

Но реющий на флагштоке зеленый флаг, залпы – в тот день дали семь залпов, – а также речь Наполеона, в которой он благодарил животных за проявленное в бою мужество, заставили их поверить, что они и впрямь одержали великую победу. Животных, павших в бою, погребли с почестями. Переделанные из телеги дроги везли Боец и Кашка, а во главе похоронной процессии шел лично сам Наполеон. Два дня никто не работал, все праздновали. Песни чередовались с речами и залпами, все получили подарки: животные по яблоку, птицы по шестьдесят граммов зерна, псы по три галеты. Было объявлено, что бой получит название Бой под ветряной мельницей и что Наполеон учредил новый знак – «Орден зеленого знамени» – и наградил им себя. В общем ликовании незадача с фальшивыми купюрами забылась.

А несколько дней спустя свиньи наткнулись в хозяйском погребе на ящик виски. Они не заметили его, когда переселялись. В тот же вечер из хозяйского дома донеслось громкое пение, в котором животные, к своему изумлению, различали обрывки «Тварей Англии». А примерно в половине десятого, еще засветло, Наполеон в старом котелке мистера Джонса вышел с черного хода, галопом обскакал двор и снова скрылся в доме. Но поутру хозяйский дом окутала тишина. Свиней не было ни видно, ни слышно. Наконец около девяти показался Стукач. Поникший, с мутными глазами, с повисшим хвостом, он еле волочил ноги – судя по его виду, он серьезно захворал. Стукач созвал животных и сказал, что должен сообщить им ужасное известие. Товарищ Наполеон при смерти!

Вне себя от горя животные заголосили. У входа в хозяйский дом настелили солому, ходили исключительно на цыпочках. Со

слезами на глазах животные спрашивали друг друга, что с ними будет, если вождя не станет. Пошел слух, будто Обвал все-таки ухитрился подсыпать в еду Наполеону яд. В одиннадцать часов Стукач вышел и сделал новое сообщение. Товарищ Наполеон издал официальный указ, запрещающий под страхом смертной казни пить спиртное, – такова его последняя воля.

Однако к вечеру Наполеону стало несколько лучше, и уже на следующее утро Стукач сообщил, что здоровье вождя не внушает опасений. К вечеру Наполеон сел за работу, а на следующий день выяснилось, что он поручил Сопли купить в Уиллингдоне пособия по пивоваренному и винокуренному делу. А неделю спустя Наполеон приказал вспахать загончик за садом, который прежде намеревались отвести под пастбище для ушедшей на пенсию скотины. Животным объяснили, что загон вытоптан и нужен пересев; но вскоре обнаружилось, что Наполеон собирается посеять там ячмень.

Примерно в это время произошел загадочный случай, который озадачил чуть ли не всех. Однажды вечером около полуночи раздался грохот – животные, побросав стойла, выскочили во двор. При ярком свете луны они увидели у торца большого амбара, там, где были начертаны семь заповедей, сломанную пополам лестницу. Около нее растянулся потерявший сознание Стукач, рядом с ним валялись фонарь и перевернутая банка с белой краской. Псы мигом обступили Стукача и, едва он поднялся на ноги, отвели в хозяйский дом. Никто даже отдаленно не мог объяснить, что бы это значило, кроме старого Вениамина, – тот с премудрым видом мотал головой, но помалкивал.

А несколько дней спустя Мона, перечитав про себя семь заповедей, заметила, что они, оказывается, еще одну заповедь запомнили неправильно. Они думали, что пятая заповедь гласит: «Животное да не пьет спиртного», но там, оказывается, были еще два слова, а их-то они и запамятовали. На самом деле заповедь читалась так: «Животное да не пьет спиртного до бесчувствия».

# Глава IX

У Бойца все не заживало поврежденное копыто. Меж тем, только отпраздновав победу, тут же приступили к восстановлению ветряной мельницы. Боец не давал себе передышки, он считал делом чести не показывать, как ему плохо. И все же по вечерам он жаловался Кашке, что копыто беспокоит его. Кашка пользовала его припарками, траву для которых жевала сама, и они на пару с Вениамином умоляли Бойца поберечь себя.

– Лошадиные легкие слабые, – говорили они.

Но Боец их не слушал. Теперь, сказал Боец, он хочет лишь одного – увидеть ветряную мельницу практически законченной, прежде чем уйдет на покой.

Сразу после восстания, когда создавались законы, для лошадей установили пенсионный возраст двенадцать лет, для коров – четырнадцать, для собак – девять, для овец – семь, для кур и гусей – пять. На пенсионное содержание решили не скупиться. Пока еще никто на покой не ушел, но в последнее время пенсии обсуждались все чаще и чаще. Теперь, когда загончик за садом отвели под ячмень, ходили слухи, что престарелым животным отгородят часть длинного выгона, где они будут пастись в свое удовольствие. Говорили, что лошадям положат пенсию два килограмма зерна в день летом и семь килограммов сена зимой, ну а по праздникам добавят еще и морковку, а то и яблоко. Бойцу должно было исполниться в следующем году двенадцать лет.

Жилось им меж тем трудно. Зима выдалась такая же холодная, как и в прошлом году, а нехватка кормов ощущалась еще острее. Всем, кроме свиней и псов, опять урезали пайки. Уравниловка при распределении кормов, объяснил Стукач, противоречила бы духу скотизма. Как бы там ни было, Стукач без особого труда доказал животным, что нехватка кормов лишь плод их воображения, на самом же деле кормят их до отвала. Он не отрицает, что из-за временных трудностей возникла необходимость пересмотреть пайки (Стукач никогда не говорил «урезать», только «пересмотреть»), но при Джонсе им жилось куда хуже. Скороговоркой зачитывая цифры срывающимся на визг голосом, Стукач обстоятельно доказывал, что они получают больше овса, больше сена, больше репы, чем при Джонсе, а работа у них легче, вода лучше качеством, жизнь дольше, детская смертность меньше, соломенные подстилки мягче, блохи их донимают реже. Животные верили каждому его слову. По правде говоря, о Джонсе и всем с ним связанном у них сохранились лишь

самые смутные воспоминания. Они знали, что жизнь ведут нищую и суровую, часто недоедают и мерзнут и, когда не спят, всегда работают. Но прежде им, наверное, жилось еще хуже. Они охотно этому верили. Кроме того, тогда они были рабами, теперь они свободны, а это самое главное, не упускал случая напомнить им Стукач.

Едоков на ферме прибыло. Осенью четыре свиноматки разом опоросились и принесли тридцать одного поросенка. Поросята народились пестрые, и так как, кроме Наполеона, хряков на ферме не было, догадаться, кто их отец, не составило труда. Было объявлено, что вскоре купят кирпич и лес и в саду построят школу. А пока Наполеон лично обучал поросят на кухне хозяйского дома. На прогулку поросят выводили в сад и строго запретили им якшаться с прочей мелюзгой. Примерно тогда же положили правилом: любое животное, которое сталкивается на дороге со свиньей, должно посторониться; кроме того, всем свиньям, независимо от ранга, было разрешено повязывать на хвосты по воскресеньям зеленые ленты.

Год был довольно удачный, но денег по-прежнему не хватало. Предстояло покупать кирпич, песок, известь для школы, к тому же надо было копить деньги на оборудование для ветряной мельницы. А там чего только не понадобится: и керосин, и свечи для дома, и сахар к столу Наполеона (остальным свиньям Наполеон запретил есть сахар на том основании, что они от него толстеют), вдобавок у них подходили к концу запасы инструмента, гвоздей, веревок, угля, проволоки, кровельного железа и собачьих галет. Был продан стог сена, часть урожая картошки и заключен договор на поставку уже не четырех, а шести сотен яиц в неделю, и поголовье кур едва не уменьшилось: так мало они высидели цыплят. Пайки, урезанные в декабре, в феврале урезали снова и, чтобы не расходовать керосин, за претили жечь в стойлах фонари. Но свиньи жили припеваючи и даже тучнели. Однажды днем на исходе февраля над двором поплыл теплый, густой, аппетитный запах – такого запаха животные в жизни не нюхивали. Он шел из заброшенной еще при Джонсе пивоварни за кухней. «Ячмень варится», – догадался кто-то. Животные жадно втягивали воздух и гадали, не попотчуют ли их на ужин теплой дробиной. Но никакой дробины им не дали, а в следующее воскресенье было объявлено, что отныне весь ячмень пойдет исключительно свиньям. Загончик за садом уже засеяли ячменем. Вскоре просочилось известие, что свиньи теперь получают по пол-литра пива в день, а сам Наполеон по два литра, и подают ему пиво в супнице из парадного сервиза.

Но хотя трудностей хватало, они отчасти искупались тем, что

в жизни животных появилась несвойственная ей доселе возвышенность. Никогда они столько не пели, не слушали речей, не ходили на демонстрации. Наполеон приказал раз в неделю устраивать стихийную, как он ее называл, демонстрацию, отмечать исторические вехи на пути Скотного Двора. В назначенное время животные бросали работу и походным строем, печатая шаг, обходили ферму: возглавляли шествие свиньи, за ними шли лошади, коровы, овцы, замыкали шествие куры и утки. Собаки располагались по флангам, а впереди вы ступал Наполеонов черный петух. Боец и Кашка на пару несли зеленое знамя с изображением рога и копыта и девизом «Да здравствует товарищ Наполеон!». Завершалось шествие чтением посвященных Наполеону стихов и речью Стукача, в которой тот подробно докладывал, как увеличилось за последнее время производство кормов, а в торжественных случаях давался залп из пушки. Особенно полюбили стихийные демонстрации овцы, и если кто жаловался (а такое порой случалось, когда свиней и псов не было поблизости), что на демонстрациях они только попусту тратят время и мерзнут, овцы тут же заводили свое «Четыре ноги хорошо, две – плохо», причем блеяли так громко, что заглушали всякий ропот. Но в общем-то животные радовались торжествам. Они напоминали им, что как бы там ни было, а над ними нет хозяев и работают они на себя, а это их утешало. Словом, песни, шествия, бесконечные списки цифр, зачитываемые Стукачом, грохот залпов, кукареканье петушка, полощущийся на ветру флаг помогали им забыть, хотя бы ненадолго, что в животах у них пусто.

В апреле Скотный Двор был провозглашен республикой, а раз так, полагалось выбрать президента. Кандидат на пост президента был всего один – Наполеон, и его избрали единогласно. В этот же день поступило сообщение, что обнаружились новые документы, в которых содержатся еще неизвестные факты о сотрудничестве Обвала с Джонсом. Обвал, оказывается, не только хотел обречь их на поражение в Бою под коровником при помощи хитроумного маневра, как считалось раньше, но открыто сражался на стороне Джонса. На самом деле возглавил людей не кто иной, как Обвал, это он бросился в бой с криком: «Да здравствует человечество!» А раны на его спине – среди животных оставались и такие, хоть их было немного, кто еще помнил, что видел эти раны собственными глазами, – не что иное, как следы зубов Наполеона.

В разгар лета на ферму после долгого отсутствия неожиданно возвратился ворон Моисей. Он ничуть не изменился, по-прежнему бездельничал и рассказывал те же байки о крае, где текут

молочные реки с кисельными берегами. Он вспархивал на пень, хлопал черными крыльями и говорил часами, было бы кому слушать.

– Вон там, товарищи, – вещал он, уставив в небо длинный клюв, – там вон, за той черной тучей, текут молочные реки с кисельными берегами, там тот счастливый край, где нас, бедных животных, ждет вечное отдохновение от трудов.

Более того, он даже утверждал, будто как-то раз взлетел повыше и сам побывал в том краю, видел вечнозеленые клеверища и изгороди, на которых растут льняной жмых и кусковой сахар. Многие животные верили ему. Живут они впроголодь, рассуждали они, работают от зари до темна, а раз так, должен же где-то существовать лучший мир – это было бы только справедливо. А вот чего они никак не понимали – это отношения свиней к Моисею. Те отмахивались от его рассказов о молочных реках с кисельными берегами, называли их небылицами, но, хотя Моисей бездельничал, со Скотного Двора его не гнали и положили ему в день по стакашку пива.

Копыто у Бойца наконец поджило, и он стал работать еще упорнее. Да и все животные работали как каторжные. Мало того что им приходилось вести хозяйство и восстанавливать ветряную мельницу, вдобавок к этому надо было строить и школу для поросят, которую заложили в марте. Порой работать подолгу на пустой желудок было невмоготу, но Боец не делал себе поблажек. Если послушать его да посмотреть, как он ворочает, никто не сказал бы, что силы у него уже не те. А вот с виду он сдал – шкура у него не так лоснилась, крутые бока, похоже, спали. Все говорили: «Вот выйдет трава, и Боец еще поправится», но весна пришла, а Боец как был, так и остался тощим. Порой, когда он с громадным напряжением тащил камень из карьера вверх по откосу, казалось, одна сила воли держит его на ногах. Лишь по губам – голос у него пропал – можно было прочесть, что он твердит: «Я буду работать еще упорнее». Кашка и Вениамин снова и снова упрашивали его пощадить себя, но Боец пропускал их слова мимо ушей. Близился его двенадцатый день рождения. Его заботило одно: запасти бы побольше камня перед выходом на пенсию, а там будь что будет.

Однажды летом уже поздним вечером по ферме пронесся слух, что с Бойцом случилась беда. Он, как всегда, пошел таскать в одиночку камни на ветряную мельницу. И точно: слух оправдался. Минуту-другую спустя принеслись двое голубей.

– Боец упал! Завалился на бок и не может подняться, – сообщили они.

Чуть не все животные кинулись к взгорку. У ветряной

мельницы, зажатый оглоблями, вытянув шею, лежал Боец. При их виде он даже не поднял головы. Глаза у него остекленели, бока были белые от мыла. Изо рта тонкой струйкой сочилась кровь. Кашка опустилась около него на колени.

– Боец, – позвала она его. – Что с тобой?

– Легкие отказали, – сказал Боец пресекающимся голосом. – Но не беда, я надеюсь, вы закончите мельницу и без меня. Камня запасено достаточно. Все равно мне один месяц до пенсии. По правде говоря, я очень ждал пенсии. А вдруг и Вениамина – он ведь тоже успел состариться – отпустят на покой: вместе нам было бы веселее.

– Нам понадобится помощь, – сказала Кашка, – пусть кто-нибудь сбегает расскажет Стукачу, какая у нас беда.

Животные со всех ног бросились к хозяйскому дому оповестить Стукача. При Бойце остались только Кашка и Вениамин. Он лег рядом с Бойцом и молча отгонял от него мух длинным хвостом. Спустя четверть часа появился Стукач – воплощенные сочувствие и заботливость. Он сказал, что товарищ Наполеон с чувством глубокой скорби узнал о несчастье, постигшем одного из самых верных тружеников Скотного Двора. Сейчас он договаривается отправить Бойца на лечение в уиллингдонскую больницу. Животными овладело смутное беспокойство: до сих пор никто из них, кроме Молли и Обвала, не покидал Скотного Двора, и им не хотелось, чтобы их больной товарищ попал в руки к людям. Тем не менее Стукач в два счета убедил их, что лучше лечиться у ветеринарного врача в Уиллингдоне, чем домашними средствами на ферме. И полчаса спустя, когда Бойцу полегчало, его с большим трудом подняли на ноги, и он доковылял до своего денника, куда Кашка и Вениамин загодя натащили побольше соломы.

Два дня Боец не выходил из денника. Свиньи послали ему большую бутылку розового снадобья, которую извлекли из аптечки в ванной, и Кашка поила им Бойца два раза в день после еды. Вечерами она укладывалась рядом в деннике и вела с ним беседы, а Вениамин отгонял хвостом мух. Он ничуть не жалеет, уверял Боец, что так получилось. Если его хорошо подлечат, он вполне может прожить еще три года, а ему бы очень хотелось попастись в свое удовольствие на огороженном от длинного выгона пастбище. Наконец-то он сможет учиться, повышать свой культурный уровень – ведь раньше у него на это не было времени. Остаток жизни, сказал Боец, он посвятит изучению остальных двадцати девяти букв алфавита.

Вениамин и Кашка могли дежурить около Бойца только после работы, а фургон приехал за ним среди дня. Животные были в

поле, пропалывали репу под надзором свиньи; когда они увидели, что к ним со всех ног, истошно крича, несется Вениамин, удивлению их не было предела. Никогда прежде им не доводилось видеть его в таком возбуждении, кстати, чтобы он мчался, тоже никому не доводилось видеть.

– Быстрее, быстрее! – надрывался он. – Идите сюда! Они увозят Бойца!

Даже не отпросившись у свиньи, животные бросили прополку и побежали к Скотному Двору. И точно, во дворе стоял закрытый фургон, запряженный двумя лошадьми, с надписью крупными буквами на боковой стенке; на козлах фургона восседал продувного вида малый в котелке. Бойца в деннике не было.

Животные обступили фургон.

– До свидания, Боец! – хором кричали они. – До свидания!

– Дурачье, дурачье! – надрывался Вениамин, он метался вокруг них, топоча копытцами. – Дурачье! Разве вы не видите, что написано на фургоне?

Животные пришли в замешательство, наступила тишина. Мона принялась разбирать по складам надпись. Вениамин оттолкнул ее и при гробовом молчании прочел:

– «Альфред Симмондс, забойщик и клеевар, Уиллингдон. Торгуем шкурами, костьем. Снабжаем псарни». Разве вы не поняли, что это значит? Бойца отправляют на живодерню!

Вне себя от ужаса животные заголосили. Но малый на козлах огрел лошадей кнутом, они резво зарысили, и фургон выехал со двора. Животные, плача навзрыд, гурьбой побежали за фургоном. Кашка пробилась вперед. Фургон уже набирал скорость. Кашка попыталась было поскакать во весь опор, но куда там, она так отяжелела, что и трусила-то с трудом.

– Боец! – кричала она. – Боец! Боец! Боец!

Кто знает, донеслись ли до Бойца их крики, только в заднем окошке фургона показалась его пересеченная белой отметиной морда.

– Боец! – кричала Кашка не своим голосом. – Боец! Беги! Беги скорей! Тебя везут на смерть!

Животные дружно подхватили:

– Беги, Боец, беги!

Но лошади набирали скорость, все дальше увозя от них фургон. Неизвестно, понял ли Боец, о чем его предупреждала Кашка, но окошко чуть не сразу опустело, а из фургона донесся барабанный бой копыт. Это Боец пытался проломить стенку фургона. Было время, когда Бойцу ничего не стоило разнести фургон в щепки, но, увы, силы его были подорваны – барабанный бой копыт все слабел и слабел, а вскоре и вовсе стих. В отчаянии

животные воззвали к лошадям, умоляя их остановиться.

– Товарищи! Товарищи! – кричали они. – Подумайте, кого вы везете на смерть – своего брата!

Но безмозглые твари, по темноте своей не понимая, о чем идет речь, только прижали уши и припустили еще пуще. Боец больше не показывался в окошке. Что бы им забежать вперед и закрыть тесовые ворота, но они поздно спохватились – и вот фургон уже миновал ворота и вскоре скрылся вдали. Больше они Бойца никогда не видели.

А три дня спустя было объявлено, что Боец умер в Уиллингдонской больнице, хотя для него сделали все, что только можно сделать для лошади. Весть о кончине Бойца принес животным Стукач. Он присутствовал, сказал Стукач, при кончине Бойца.

– Более трогательной кончины я не видел, – сказал Стукач и смахнул слезу ножкой. – Я принял его последний вздох. Перед смертью Боец совсем ослаб, он не мог говорить и прошептал мне на ухо, что мечтал лишь об одном – завершить строительство ветряной мельницы, а там умереть, да вот не вышло. «Вперед, товарищи! – прошептал он. – Вперед, во имя нашего восстания! Да здравствует Скотный Двор! Да здравствует товарищ Наполеон! Наполеон всегда прав!» – таковы были его предсмертные слова.

Тут повадка Стукача резко изменилась. Он умолк, долго озирался по сторонам и только потом продолжил свою речь.

Как ему стало известно, сказал Стукач, когда Бойца увозили, по ферме распространился глупый и зловредный слух. Кое-кто из них, очевидно, заметил на закрытом фургоне, приехавшем за Бойцом, надпись «забойщик» и сделал из этого вывод, будто Бойца отправили на живодерню. Просто не верится, сказал Стукач, чтобы животные опустились до такой глупости. Не может быть, негодовал Стукач, вертя хвостиком и приплясывая, не может быть, чтобы они подумали такое о своем любимом вожде товарище Наполеоне! Все объясняется как нельзя проще. Ветеринар купил фургон у живодера, а замазать имя прежнего владельца не успел. Вот откуда пошла ошибка.

У животных сразу отлегло от души. А когда Стукач с красочными подробностями описал им последние минуты Бойца и рассказал, каким уходом его окружили, какими дорогими лекарствами пользовали, причем Наполеон, ни минуты не колеблясь, выложил за них деньги, – последние их сомнения рассеялись, а скорбь смягчилась: по крайней мере кончина их товарища была счастливой.

В следующее воскресенье Наполеон лично пришел на собрание и произнес короткое надгробное слово Бойцу.

Пусть нам не удалось, сказал Наполеон, перевезти останки нашего усопшего товарища и предать их земле, но он велел сплести большой венок – на него пустят ветки с лавровых кустов, растущих у нас в саду, – и послать венок в Уиллингдон, чтобы его возложили на могилу Бойца. А через несколько дней свиньи непременно устроят поминки по Бойцу.

В заключение своей речи Наполеон напомнил животным любимые девизы Бойца: «Я буду работать еще упорнее!» и «Товарищ Наполеон всегда прав». Девизы эти, сказал он, не мешало бы взять на вооружение каждому животному.

В день поминок к хозяйскому дому подъехал бакалейный фургон из Уиллингдона – он доставил большой ящик с бутылками. Вечером из дома послышалось разудалое пение, за ним шумная перебранка, а в одиннадцать часов раздался оглушительный грохот бьющегося стекла, и на том поминки закончились. До следующего полудня хозяйский дом затих, и по ферме прошел слух, что свиньи раздобыли где-то деньги и купили себе еще ящик виски.

# Глава X

Шли годы. Одна пора сменялась другой, а у скотины век короткий, и пролетает он быстро. И вот наступило время, когда, кроме Кашки, Вениамина, ворона Моисея и кое-кого из свиней, ни кто не помнил, как они жили до восстания.

Мона умерла, Ромашка, Роза и Кусай тоже умерли. Умер Джонс – он скончался вдали от здешних мест в приюте для алкоголиков. Никто не помнил Обвала, да и Бойца помнили лишь те, кто знал его, а таких было раз, два и обчелся. Кашка превратилась в дебелую кобылу преклонных лет, ноги у нее не гнулись, глаза слезились. Ей еще два года назад полагалась пенсия, но, по правде говоря, никто из животных на покой пока не ушел. Разговоры о том, что от выгона отгородят уголок под пастбище для престарелых, давным-давно заглохли. Наполеон заматерел, он теперь весил пудов десять с гаком. Стукач до того разжирел, что с трудом открывал глаза. Только старенький Вениамин каким был, таким и остался, разве что шерсть на морде у него поседела да после смерти Бойца он стал еще более замкнутым и несловоохотливым.

Поголовье на Скотном Дворе увеличилось, хотя и не так сильно, как ожидали в первые годы после восстания. За это время народилось много новых животных – для них восстание было лишь туманной легендой, передаваемой изустно; немало животных купили – а они до своего появления на Скотном Дворе и вовсе не слыхали о восстании. Теперь на ферме имелись еще три лошади, кроме Кашки. Отличные, крепкие кобылы, работяги, хорошие товарки, но уж очень глупые. Ни одна из них дальше буквы Б не продвинулась. Они принимали на веру все, что им рассказывали о восстании и положениях скотизма другие, и тем более Кашка, которую почитали как мать, но, похоже, толком не понимали.

Хозяйство наладилось, порядка стало больше, к Скотному Двору прирезали еще два поля – их купили у мистера Калмингтона. Строительство ветряной мельницы удалось наконец закончить, и теперь у них были и молотилка, и стогометатель; пристроили много новых служб. Сопли купил себе дрожки. Но генератор на ветряной мельнице так и не установили. На ней мололи зерно, а это приносило немалые деньги. Теперь животные, не щадя сил, строили другую мельницу; когда ее закончат, говорили они, на ней установят генератор. Но о тех роскошествах, которые некогда сулил им Обвал: стойлах с электрическим светом, горячей и холодной водой, сокращении

рабочей недели, – ни о чем подобном теперь уже и речи не было. Наполеон за клеймил подобные излишества, сказал, что они противоречат духу скотизма. Работать не щадя сил и жить скромно – вот в чем истинное счастье, говорил Наполеон.

Хотя Скотный Двор богател, создавалось такое впечатление, что животные не становились богаче, за исключением, конечно, псов и свиней. Отчасти это, наверное, объяснялось тем, что уж очень много и тех и других развелось на ферме. И не скажешь, чтобы они не работали, на свой, конечно, лад. Руководство работой и ее организация требуют огромной затраты труда, втолковывал животным Стукач. Работа эта по преимуществу была такого рода, что никто, кроме свиней, по темноте своей не понимал ее значения. Например, Стукач объяснил животным, что свиньи ежедневно кладут много сил на составление малопонятных штуковин, которые называются «данные», «отчеты», «протоколы» и «докладные». Это были большие листы бумаги. Они убористо исписывались, после чего отправлялись в топку. На них, утверждал Стукач, зиждется благополучие Скотного Двора. Однако ни свиньи, ни псы своим трудом прокормить себя не могли, а вон их сколько развелось, да и на аппетит они не жаловались.

Что же до остальных животных, их жизнь, насколько они понимали, какой была, такой и осталась. Они вечно недоедали, спали на соломе, ходили на водопой к пруду, работали в поле, зимой страдали от холода, летом – от мух. Порой те, кто постарше, рылись в слабеющей памяти, пытаясь вспомнить, лучше или хуже им жилось сразу после восстания, когда они только что прогнали Джонса. И не могли вспомнить. Им не с чем было сравнивать сегодняшнюю жизнь, не по чему судить, кроме столбцов цифр, которые зачитывал Стукач, а они неизменно доказывали: жить стало лучше. Животные убедились, что им не докопаться до сути, к тому же у них не хватало времени на размышления. Только старенький Вениамин настаивал, что помнит всю свою долгую жизнь до мельчайших деталей и знает: им никогда не жилось ни лучше, ни хуже – голод, непосильный труд и обманутые ожидания, таков, говорил он, нерушимый закон жизни.

И все же животные не оставляли надежды. Более того, они ни на минуту не забывали, что им выпала честь быть гражданами Скотного Двора. Ведь другой такой фермы, которая и принадлежит животным, и управляется ими, нет во всей стране, и в какой стране – в Англии! Все без исключения животные, даже самые молодые, даже новички, привезенные с ферм за пятнадцать, за двадцать километров, не могли этому надивиться.

И когда раздавался ружейный залп, а на флагштоке реял зеленый флаг, сердца их преисполняла непреходящая гордость, и, о чем бы ни шла речь, они сворачивали на те героические времена, когда прогнали Джонса, создали семь заповедей и в боях отстояли ферму от человеческих захватчиков. Прежние чаяния не были забыты. Они все еще верили, что пророчество Главаря исполнится: Англия станет Скотной Республикой и по ее полям не будет ступать нога человека. Настанет день, и их чаяния сбудутся; возможно, ждать этого придется долго, возможно, никто из них не доживет до этого, но их чаяния сбудутся. Да и «Твари Англии», правда, тайком, напевали то там, то сям, во всяком случае, все без исключения животные на ферме знали эту песню, хоть и не осмеливались петь ее вслух. И пусть их жизнь тяжела, и пусть не все их чаяния осуществились, зато они не чета животным других ферм. Пусть они голодают, но не потому, что кормят угнетателей-людей, и пусть их труд тяжел, но они работают на себя. Никто из них не ходит на двух ногах, никто не зовет другого «хозяин». Все животные равны.

Как-то в начале лета Стукач приказал овцам следовать за ним и увел их на поросший молодыми березами пустырь по другую сторону Скотного Двора. Овцы целый день паслись там, щипали листья под надзором Стукача. Вечером Стукач возвратился на ферму один, а овцам велел ночевать на пустыре, благо стояла теплая погода. Они пробыли там целую неделю, и за это время никто из животных их не видел. Стукач проводил с овцами все дни напролет. По его словам, он хотел в спокойной обстановке разучить с ними новую песню.

И вот в один погожий вечерок, когда овцы только-только возвратились, а животные, окончив работу, тянулись на ферму, со двора донеслось испуганное ржание. Животные остановились как вкопанные. Ржала Кашка. Но вот она за ржала снова, и тут уж животные припустили и ворвались во двор. Им открылась та же картина, что и Кашке.

Свинья шла на задних ногах.

Да, это был Стукач. Чуть неуклюже – оно и понятно, легко ли с непривычки держать такую тушу стоймя, – но, не клонясь ни вправо, ни влево, он разгуливал по двору. А немного погодя из двери хозяйского дома вереницей вышли свиньи – все до одной на задних ногах. Кто лучше, кто хуже, две-три шли не очень уверенно и, похоже, были бы не прочь подпереться палкой, но тем не менее все успешно обогнули двор. Напоследок оглушительно залаяли псы, пронзительно закукарекал черный петушок, и из дома вышел сам Наполеон – прямой, величавый, он надменно посматривал по сторонам, а вокруг него бесновалась псиная

свита.

Он держал кнут.

Воцарилось гробовое молчание. Изумленные, потрясенные животные, сбившись в кучу, наблюдали, как длинная вереница свиней прогуливается по двору. Им казалось, мир перевернулся вверх тормашками. Но вот первое потрясение прошло, и тут – несмотря ни на что, ни на боязнь псов, ни на выработавшуюся за долгие годы привычку, что бы ни случилось, не роптать, не критиковать – они бы возмутились. И в то же самое время, точно по команде, овцы оглушительно грянули:

– Четыре ноги хорошо, две – лучше! Четыре ноги хорошо, две – лучше!

И блеяли целых пять минут без перерыва. А когда овцы угомонились, свиньи вернулись в дом, и возмущаться уже не имело смысла.

Кто-то ткнулся Вениамину носом в плечо. Он обернулся. Позади стояла Кашка. Глаза ее смотрели еще более подслеповато, чем обычно. Ничего не говоря, она тихонько потянула Вениамина за гриву и повела к торцу большого амбара, где были начертаны семь заповедей. Минуту-другую они смотрели на белые буквы, четко выступавшие на осмоленной стене.

– Я стала совсем плохо видеть, – сказала наконец Кашка. – А я не могла разобрать, что здесь написано, и когда была помоложе. Только, сдается мне, стена стала другая. Вениамин, ну а семь заповедей, они-то те же, что прежде?

И тут Вениамин впервые изменил своим правилам и прочел Кашке, что написано на стене. Там осталась всего-навсего одна-единственная заповедь. Она гласила:

Все животные равны.
Но некоторые животные более равны, чем другие.

После этого они ничуть не удивились, когда на следующий день свиньи-надсмотрщики вышли на работу с кнутами. Не удивились они и узнав, что свиньи купили себе приемник, ведут переговоры об установке телефона и подписались на «Джона Буля», «Тит-Бит» и «Дейли миррор». Не удивились они и когда Наполеон стал прогуливаться по саду, попыхивая трубкой. И даже когда свиньи вынули из шкафов одежду мистера Джонса и обрядились в нее – они и то не удивились. Для себя Наполеон выбрал черный пиджак, галифе и кожаные краги, а для своей любимой свиноматки нарядное муаровое платье миссис Джонс.

А спустя неделю к Скотному Двору стали подкатывать дрожки. Депутация соседних фермеров прибыла осмотреть

Скотный Двор. Приглашенных провели по ферме, где буквально все вызвало их восхищение, особенно ветряная мельница. Животные пололи в поле репу. Работали усердно, уткнув носы в землю: они и сами не знали, кого больше боятся – свиней или людей.

Вечером из хозяйского дома доносились раскаты смеха, пение. В слитном гуле нельзя было различить голосов, и животных разобрало любопытство. Что же там такое происходит: ведь животные и люди в первый раз встречаются на равных. И они все, как один, по-пластунски поползли к хозяйскому дому.

В воротах они было помедлили, заколебались, но Кашка увлекла их за собой. На цыпочках подкрались они к дому, и те из них, у кого хватило росту, заглянули в окно столовой. Во круг длинного стола расположились шесть фермеров и столько же наиболее высокопоставленных свиней. Сам Наполеон восседал на почетном месте во главе стола. Свиньи, судя по всему, вполне освоились со стульями. Компания, похоже, с азартом резалась в карты, но сейчас, очевидно, прервала игру ради тоста. По столу ходил большой кувшин, кружки вновь наполняли пивом. Животных, с любопытством заглядывающих в окно, ни кто не заметил.

Мистер Калмингтон из Плутней встал с кружкой в руке. Вскоре, сказал мистер Калмингтон, он предложит присутствующим тост. Но прежде он почитает своим долгом сказать несколько слов.

Нельзя передать, сказал он, какое удовлетворение чувствует он, и, уверен, не только он, но и все присутствующие от того, что долгим годам взаимного недоверия и непонимания пришел конец. Было такое время – хотя ни он, ни, конечно же, никто из присутствующих этих чувств не разделяли, – но тем не менее было время, когда люди с соседних ферм относились к почтенным владельцам Скотного Двора не сказать с враждебностью, но с некоторой опаской. Случались досадные стычки, бытовали ошибочные представления. Считалось, что ферма, которая принадлежит свиньям и управляется ими, явление не вполне нормальное, не говоря уж о том, что такая ферма, несомненно, может оказать разлагающее влияние на соседние фермы. Многие, даже слишком многие фермеры, не потрудившись навести справки, решили, что на такой ферме царят распущенность и расхлябанность. Их беспокоило, как подействует не только на их животных, но и на их работников само наличие такой фермы. Однако сейчас все сомнения развеялись. Сегодня он вместе с друзьями посетил Скотный Двор и внимательнейшим образом осмотрел его, и что же они

обнаружили? Не только самые современные методы ведения хозяйства, но и порядок, и четкость, которые мог бы взять за образец любой фермер. Он надеется не погрешить против истины, если скажет, что на Скотном Дворе низшие животные работают больше, а кормов получают меньше, чем на любой другой ферме. Словом, и ему, и его друзьям довелось увидеть сегодня много такого, что они безотлагательно введут на своих фермах.

В заключение, сказал мистер Калмингтон, ему еще раз хочется отметить то чувство дружбы, которое сохранялось все эти годы и, он надеется, сохранится и впредь между Скотным Двором и его соседями. Интересы свиней и людей никоим образом не противоречат и не должны противоречить друг другу. У них одни и те же цели, одни и те же трудности. Разве проблема рабочей силы не везде одинакова?

В этом месте мистер Калмингтон явно собрался попотчевать слушателей заранее заготовленной остротой, но его так разбирал смех, что он не мог выговорить ни слова. Он давился, его многоэтажные подбородки наливались кровью, но в конце концов все же справился с собой.

– Вам приходится держать в узде низших животных, – сказал он, – а нам низшие классы!

Стол ответил на его «bon mot»[3] взрывом хохота, а мистер Калмингтон вновь поздравил свиней с заведенными на Скотном Дворе порядками: скудными пайками, долгим рабочим днем и полным отсутствием каких-либо послаблений.

А теперь, заключил мистер Калмингтон, он попросит присутствующих встать и проверить, не забыли ли они наполнить свои бокалы.

– Господа! – закончил свою речь мистер Калмингтон. – Господа, я хочу предложить тост запроцветание Скотного Двора!

Дружные аплодисменты, топот. Наполеону речь до того понравилась, что, прежде чем осушить кружку, он подошел чокнуться с мистером Калмингтоном. Когда аплодисменты стихли, Наполеон – а он так и не сел – объявил, что скажет несколько слов.

Как всегда, Наполеон говорил кратко и по существу. Он тоже, сказал Наполеон, счастлив, что их непониманию пришел конец. Долгое время ходили слухи – их, как есть все основания полагать, распространяли наши недруги, – что он и его помощники исповедуют подрывные и чуть ли не революционные взгляды. Им приписывали, будто они призывают животных соседних ферм к восстанию. Клевета от начала и до конца! Единственное, чего они хотели бы и сейчас, и в прошлом, так это мира и нормальных деловых отношений со своими соседями. Ферма, которую он

имеет честь возглавлять, добавил Наполеон, предприятие кооперативное. И купчие на Скотный Двор, хранящиеся у него, – коллективная собственность свиней.

Он верит, сказал Наполеон, что прежние подозрения рассеялись, и все же кое-какие порядки на ферме изменены с целью еще больше укрепить возникшее доверие. До сих пор у животных на ферме имелся нелепый обычай называть друг друга «товарищ». Он подлежит отмене. Имелся и другой дикий обычай, истоки которого неясны, – проходить каждое утро церемониальным маршем в саду мимо прибитого к столбу черепа старого хряка. И этот обычай, в свою очередь, подлежит отмене, а череп уже предан земле. Наши гости успели, очевидно, заметить и реющий на флагштоке зеленый флаг. Если так, то им, вероятно, уже бросилось в глаза, что прежде на нем были изображены белой краской рог и копыто – теперь их нет. Отныне и навсегда флаг будет представлять собой гладко-зеленое полотнище.

У него есть только одна поправка, сказал Наполеон, к превосходной добрососедской речи мистера Калмингтона. Мистер Калмингтон на протяжении своей речи называл ферму Скотным Двором. Мистер Калмингтон, разумеется, не мог знать, поскольку Наполеон сегодня впервые объявляет об этом, что название Скотный Двор упразднено. Впредь их ферма будет называться Господский Двор, как, по его мнению, и подобает ее называть, раз так она называлась искони.

– Господа, – заключил свою речь Наполеон, – предлагаю вам тот же тост, лишь слегка видоизменив его. Наполните бокалы до краев. Господа, вот мой тост: выпьем за процветание Господского Двора.

Бурные аплодисменты, кружки осушили до дна. Однако животным, смотревшим в окно, казалось, что на их глазах происходит нечто странное. Отчего стали так не похожи на себя свиные хари? Глаза Кашки подслеповато перебегали с одной хари на другую. У кого пять подбородков, у кого четыре, а у кого всего три. Отчего же хари так расплывались, менялись? Потом, когда аплодисменты смолкли, компания взялась за карты, продолжила прерванную игру, а животные молча уползли восвояси.

Но уже через двадцать метров они остановились как вкопанные. Из хозяйского дома донесся шум голосов. Они кинулись назад, снова заглянули в окно. Так и есть – в столовой кричали, стучали по столу, испепеляли друг друга взглядами, яростно переругивались. Судя по всему, ссора разгорелась из-за того, что Наполеон и мистер Калмингтон одновременно пошли с туза пик.

Двенадцать голосов злобно перебранивались, отличить, какой

чей, было невозможно. И тут до животных наконец дошло, что же сталось со свиными харями. Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них кто, было невозможно.

*Ноябрь 1943 – февраль 1944*
*Перевод Л. Беспаловой*

# Эссе

# Литература и тоталитаризм

[4]

Начиная свое первое выступление, я говорил, что наше время не назовешь веком критики. Это эпоха причастности, а не отстраненности, и поэтому стало так трудно признать литературные достоинства за книгой, содержащей мысли, с которыми вы не согласны. В литературу хлынула политика в самом широком смысле этого слова, она захватила литературу так, как при нормальных условиях не бывает, – вот отчего мы теперь столь обостренно чувствуем разлад между индивидуальным и общим, хотя он наблюдался всегда. Стоит только задуматься, до чего сложно сегодняшнему критику сохранить честную беспристрастность, и станет понятно, какие именно опасности ожидают литературу в самом близком будущем.

Время, в которое мы живем, угрожает покончить с независимой личностью, или, вернее, с иллюзиями, будто она независима. Меж тем, толкуя о литературе, а уж тем паче о критике, мы не задумываясь исходим из того, что личность вполне независима. Вся современная европейская литература – то есть та, которая создавалась последние четыре века, – стоит на принципах честности, или, если хотите, на шекспировской максиме: «Своей природе верен будь». Первое наше требование к писателю – не лгать, писать то, что он действительно думает и чувствует. Худшее, что можно сказать о произведении искусства, – оно фальшиво. К критике это относится даже больше, чем непосредственно к литературе, где не так уж досаждает некое позерство, манерничанье, даже откровенное лукавство, если только писатель не лжет в самом главном. Современная литература по самому своему существу – творение личности. Либо она правдиво передает мысли и чувства личности, либо же ничего не стоит.

Как я уже сказал, это для нас само собой разумеется, но едва стоит нам это произнести, как осознаешь, какая над литературой нависла угроза. Ведь мы живем в эпоху тоталитарных государств, которые не предоставляют, а возможно, и не способны предоставить личности никакой свободы. Упомянув о тоталитаризме, сразу вспоминают Германию, Россию, Италию, но, думаю, надо быть готовым к тому, что это явление сделается всемирным. Очевидно, что времена свободного капитализма идут к концу, и то в одной стране, то в другой он сменяется централизованной экономикой, которую можно характеризовать

как социализм или как государственный капитализм – выбор за вами. А значит, иссякает и экономическая свобода личности, то есть в большой степени подрывается ее свобода поступать как ей хочется, свободно выбирая себе профессию, свободно передвигаясь в любом направлении по всей планете. До недавней поры мы еще не предвидели последствий подобных перемен. Никто не понимал как следует, что исчезновение экономической свободы скажется на свободе интеллектуальной. Социализм обычно представляли себе как некую либеральную систему, одухотворенную высокой моралью. Государство возьмет на себя заботы о вашем экономическом благоденствии, освободив от страха перед нищетой, безработицей и т. д., но ему не будет никакой необходимости вмешиваться в вашу частную интеллектуальную жизнь. Искусство будет процветать точно так же, как в эпоху либерального капитализма, и даже еще нагляднее, поскольку художник более не будет испытывать экономического принуждения.

Опыт заставляет нас признать, что эти представления пошли прахом. Тоталитаризм посягнул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли и вообразить. Важно отдавать себе отчет в том, что его контроль над мыслью преследует цели не только запретительные, но и конструктивные. Не просто возбраняется выражать – даже допускать – определенные мысли, но диктуется, что именно надлежит думать; создается идеология, которая должна быть принята личностью, норовят управлять ее эмоциями и навязывать ей образ поведения. Она изолируется, насколько возможно, от внешнего мира, чтобы замкнуть ее в искусственной среде, лишив возможности сопоставлений. Тоталитарное государство обязательно старается контролировать мысли и чувства своих подданных по меньшей мере столь же действенно, как контролирует их поступки.

Вопрос, приобретающий для нас важность, состоит в том, способна ли выжить литература в такой атмосфере. Думаю, ответ должен быть краток и точен: нет. Если тоталитаризм станет явлением всемирным и перманентным, литература, какой мы ее знали, перестанет существовать. И не надо (хотя поначалу это кажется допустимым) утверждать, будто кончится всего лишь литература определенного рода, та, что создана Европой после Ренессанса.

Есть несколько коренных различий между тоталитаризмом и всеми ортодоксальными системами прошлого, европейскими, равно как восточными. Главное из них то, что эти системы не менялись, а если менялись, то медленно. В средневековой Европе церковь указывала, во что веровать, но хотя бы позволяла

держаться одних и тех же верований от рождения до смерти. Она не требовала, чтобы сегодня верили в одно, завтра в другое. И сегодня дело обстоит так же для приверженца любой ортодоксальной церкви: христианской, индуистской, буддистской, магометанской. В каком-то отношении круг его мыслей заведомо ограничен, но этого круга он держится всю свою жизнь. А на его чувства ни кто не посягает.

Тоталитаризм означает прямо противоположное. Особенность тоталитарного государства та, что, контролируя мысль, оно не фиксирует ее на чем-то одном. Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые со дня на день. Догмы нужны, поскольку нужно абсолютное повиновение подданных. Однако невозможно обойтись без коррективов, диктуемых потребностями политики власть предержащих. Объявив себя непогрешимым, тоталитарное государство вместе с тем отбрасывает само понятие объективной истины. Вот очевидный, самый простой пример: до сентября 1939 года каждому немцу вменялось в обязанность испытывать к русскому большевизму отвращение и ужас, после сентября 1939 года – восторг и страстное сочувствие. Если между Россией и Германией начнется война, а это весьма вероятно в ближайшие несколько лет, с неизбежностью вновь произойдет крутая перемена. Чувства немца, его любовь, его ненависть при необходимости должны моментально обращаться в свою противоположность. Вряд ли есть надобность указывать, чем это чревато для литературы. Ведь творчество – прежде всего чувство, а чувства нельзя вечно контролировать извне. Легко определять отвечающие данному моменту установки, однако литература, имеющая хоть какую-то ценность, возможна лишь при условии, что пишущий ощущает истинность того, что он пишет; если этого нет, исчезнет творческий инстинкт. Весь накопленный опыт свидетельствует, что резкие эмоциональные переоценки, каких тоталитаризм требует от своих приверженцев, психологически невозможны, и вот прежде всего по этой причине я полагаю, что конец литературы, какой мы ее знали, неизбежен, если тоталитаризм установится повсюду в мире. Так ведь до сих пор и происходило там, где он возобладал. В Италии литература изуродована, а в Германии ее почти нет. Основное литературное занятие нацистов состоит в сжигании книг. Даже в России так и не свершилось одно время ожидавшееся нами возрождение литературы, видные русские писатели кончают с собой, исчезают в тюрьмах – обозначилась эта тенденция весьма определенно.

Я сказал, что либеральный капитализм с очевидностью идет к своему концу, а отсюда могут сделать вывод, что, на мой взгляд,

обреченной оказывается и свобода мысли. Но я не думаю, что это действительно так, и в заключение просто хочу выразить свою веру в способность литературы устоять там, где корни либерального мышления особенно прочны, – в немилитаристских государствах, в Западной Европе, Северной и Южной Америке, Индии, Китае. Я верю – пусть это слепая вера, не больше, – что такие государства, тоже с неизбежностью придя к обобществленной экономике, сумеют создать социализм в нетоталитарной форме, позволяющей личности и с исчезновением экономической свободы сохранить свободу мысли. Как ни поворачивай, это единственная надежда, оставшаяся тем, кому дороги судьбы литературы. Каждый, кто понимает ее значение, каждый, кто ясно видит главенствующую роль, которая принадлежит ей в истории человечества, должен сознавать и жизненную необходимость противодействия тоталитаризму, навязывают ли его нам извне или изнутри.

*19 шюня 1941 г.*

# Писатели и Левиафан

[5]

О положении писателя в эпоху, когда все находится под контролем государства, уже немало сказано, хотя большая часть информации, относящаяся к этой теме, пока недоступна. Я не собираюсь высказываться за государственный патронаж над искусствами или против него, я только хочу определить, какие именно требования, исходящие от государственной машины, которым хотят нас подчинить, отчасти объяснимы атмосферой, иными словами, мнениями самих писателей и художников, степенью их готовности подчиниться или, напротив, сохранить живым дух либерализма. Если лет через десять выяснится, как мы раболепствовали перед деятелями типа Жданова, значит, иного мы и не за служили. Совершенно ясно, что уже и сейчас среди английских литераторов сильны тоталитаристские настроения. Впрочем, здесь речь идет не о каком-то организованном и сознательном движении вроде коммунистического, а только о последствиях, вызванных возникшей перед людьми доброй воли необходимостью думать о политике и выбирать ту или иную политическую позицию.

Мы живем в век политики. Война, фашизм, концлагеря, резиновые дубинки, атомные бомбы и прочее в том же роде – вот о чем мы размышляем день за днем, а значит, о том же главным образом пишем, даже если не касаемся всего этого впрямую. По-другому быть не может. Очутившись на пароходе, который тонет, думаешь только о кораблекрушении. Но тем самым мы не просто ограничиваем свой круг тем, мы и свое отношение к литературе окрашиваем пристрастиями, которые, как нам хотя бы порой становится ясно, лежат вне пределов литературы. Нередко мне начинает казаться, что даже в лучшие времена литературная критика – сплошной обман, поскольку нет никаких общепринятых критериев, реальность не дает никаких подтверждений оценкам, по которым вот эта книга «хорошая», а та «плохая», и выходит, что всякое суждение основано лишь на том или ином своде правил, призванных обосновать интуитивные пристрастия. Истинное восприятие книги, если она вообще вызывает какой-то отзвук, сводится к обычному «нравится» или «не нравится», а все прочее – лишь попытка рационального объяснения этого выбора. Мне кажется, такое вот «нравится» вовсе не противоречит природе литературы; противоречит ей другое: «Книга содержит близкие мне идеи, и поэтому необходимо найти в ней достоинства». Разумеется, превознося книгу из сугубо

политических соображений, можно при этом не кривить душой, искренне принимая такое произведение, но столь же часто бывает, что чувство идейной солидарности с автором толкает на прямую ложь. Это хорошо известно каждому, кто писал о книгах в периодике с четкой политической линией. Да и вообще, работая в газете, чьи позиции разделяешь, грешишь тем, что ей поддакиваешь, а в газете, которая по своей ориентации тебе далека, – тем, что умалчиваешь о собственных взглядах. Так или иначе, бесчисленные произведения, в которых твердо проводится определенная агитация – за Советскую Россию или против, за сионизм или против, за католическую церковь или против и т. д., – оказываются оценены еще до того, как их прочтут, собственно, до того, как напишут. Можно уверенно предсказать, какие отклики будут в этой газете, а какие в другой. И при всей бесчестности, которую уже едва осознают, поддерживается претензия, будто о книгах судят по литературным меркам.

Понятно, что вторжение политики в литературу было неотвратимым. Даже не возникни особый феномен тоталитаризма, оно бы все равно свершилось, потому что в отличие от своих дедов мы прониклись угрызениями совести из-за того, что в мире так много кричащих несправедливостей и жестокостей, и это чувство вины, побуждая нас ее искупить, делает невозможным чисто эстетическое отношение к жизни. В наше время никто не смог бы так самозабвенно отдаться литературе, как Джойс или Генри Джеймс. Но беда в том, что, признав свою политическую ответственность, мы отдаем себя во власть ортодоксальных доктрин и «партийных подходов», хотя из-за этого приходится трусливо молчать и поступаться истиной. По сравнению с писателями викторианской эпохи нам выпало несчастье жить среди жестко сформулированных политических идеологий, чаще всего наперед зная, какие идеи представляют собой ересь. Современный писатель постоянно снедаем страхом – в сущности, не перед общественным мнением в широком смысле слова, а перед мнениями той группы, к которой принадлежит он сам. Хорошо хоть, что таких групп, как правило, несколько и есть выбор, однако всегда есть и доминирующая ортодоксия, посягательство на которую требует очень крепких нервов и нередко готовности сократить свои расходы вполовину, причем на много предстоящих лет. Всем известно, что последние полтора примерно десятилетия такой ортодоксией, особенно влиятельной среди молодежи, является «левизна». Для нее самыми ценными эпитетами остаются слова «прогрессивный», «демократический», «революционный», а теми, которых приходится пуще всего страшиться, – «буржуазный», «реакционный», «фашистский»: не

дай Бог и к тебе могут прилипнуть эти клички. Ныне чуть не все и каждый, включая большинство католиков и консерваторов, «прогрессивны» или хотят, чтобы о них так думали. Мне не известно ни одного случая, когда бы человек говорил о себе, что он «буржуазен», точно так же как люди, достаточно грамотные, чтобы понять, о чем речь, ни за что не признают за собой антисемитизма. Все мы славные демократы, антифашисты, антиимпериалисты, все презираем классовые разделения, возмущаемся расовыми предрассудками и т. д. Ни кто всерьез не сомневается, что нынешняя левая ортодоксия предпочтительнее довольно снобистской и ханжеской консервативной ортодоксии, которая доминировала двадцать лет назад, когда самыми влиятельными журналами были «Крайтерион» и (куда менее притязательный) «Лондон меркьюри». Ведь, что ни говори, провозглашенной целью левых является жизнеспособное общество, которого и вправду хотят массы людей. Но у левых есть своя демагогия и ложь, а поскольку это не признается, некоторые проблемы становится просто невозможным по-настоящему обсуждать.

Вся левая идеология – и научная, и утопическая – разработана теми, кто не ставил перед собой как непосредственную задачу достижение власти. Поэтому она была идеологией экстремистской, подчеркнуто не считавшейся с царями, правительствами, законами, тюрьмами, полицейскими, генералами, знаменами, границами, с патриотическими чувствами, религией, моралью – словом, со всем наличествующим порядком вещей. Еще на нашей памяти левые силы во всех странах сражались против тирании, казавшейся неуязвимой, и легко было предполагать, что, если бы только вот *эта* конкретная тирания – капитализм – была свергнута, социализм немедленно бы воцарился вместо нее. Кроме того, от либералов левые переняли несколько весьма сомнительных верований – например, во всепобеждающую силу правды, в то, что подавлять – значит губить самих себя, и что по природе своей человек добр, и что злым его делают исключительно окружающие условия. Эта перфекционистская доктрина глубоко укоренена почти во всех нас, и, движимые верой в нее, мы протестуем, когда, к примеру, правительство лейбористов предоставляет крупные суммы дочерям монарха или не решается национализировать сталелитейную промышленность. Но, сталкиваясь всякий раз с реальностью, вера трещит по швам, и мы начинаем мучиться противоречиями, не желая в этом признаться.

Первым таким столкновением с реальностью оказалась русская революция. В силу довольно сложных причин едва ли не

все английские левые должны были принять установленную ею систему как «социалистическую», понимая при этом, что и принципы ее, и практика совершенно чужды всему, что подразумевается под «социализмом» у нас самих. А в результате выработалось какое-то перевернутое мышление, допускающее, что такие слова, как «демократия», обладают двумя взаимоисключающими значениями, а такие акции, как массовые аресты или насильственные выселения, оказываются в одно и то же время как правильными, так и недопустимыми. Следующий удар по левой идеологии нанес своими успехами фашизм, который сокрушил свойственные левым пацифистские и интернационалистские устремления, что, однако, не привело к решительному пересмотру самой доктрины. Фашистская оккупация заставила европейские народы убедиться в том, что давно было известно из собственного опыта народам колоний: классовые антагонизмы не так уж сверхважны, и существует такое понятие, как интересы всей нации. С появлением Гитлера трудно стало всерьез рассуждать о «внутреннем враге» и что национальная независимость не имеет никакого значения. Но хотя все мы об этом знаем и, когда необходимо, действуем исходя из этого знания, по-прежнему господствует чувство, что сказать об этом прямо означало бы совершить предательство. Наконец – и здесь возникают самые большие сложности – левые теперь у власти, так что они обязаны взять на себя ответственность, принимая справедливые решения.

Левые правительства почти всегда разочаровывают своих сторонников, поскольку даже и в тех случаях, когда удается достичь обещанного ими процветания, обязательно приходится пережить трудный переходный период, о котором, до того как взять власть, едва упоминалось. Вот и мы сейчас видим, как наше правительство, отчаянно борясь с экономическими трудностями, вынуждено преодолевать последствия своей же пропаганды, которая велась в предшествующие годы. Переживаемый нами кризис не какое-то нежданное бедствие вроде землетрясения, и вызван он не войной – она его только стимулировала. Можно было десятки лет назад предвидеть, что произойдет нечто подобное. Еще с девятнадцатого века крайне проблематичным оставалось стабильное увеличение национального дохода, зависящего частью от инвестиций за рубежом, частью от надежных рынков и дешевого сырья из колоний. Было ясно, что рано или поздно что-то нарушится и мы окажемся вынужденными уравновешивать экспорт импортом; а если это случится, уровень жизни в Англии, включая уровень жизни рабочего класса, неизбежно упадет – по крайней мере на время. Однако левые

партии, сколь ни громогласно выступали они против империализма, никогда не касались таких материй. Иной раз они готовы были признать, что британские рабочие до некоторой степени живут за счет грабежа Азии и Африки, но при этом дело непременно изображалось так, словно, отказавшись от таких доходов, мы каким-то образом все равно умудримся сохранить процветание. А рабочих главным образом и обращали в социалистическую веру, говоря им: вот видите, вас эксплуатируют, – тогда как грубая истина, если исходить из положения вещей в мире, сводилась к другому: они сами эксплуатировали. Сегодня, судя по всему, мы пришли к тому, что уровень жизни рабочего класса *не может* быть сохранен на достигнутом уровне, уж не говоря о росте. Даже в том случае, если богатых заставили бы уйти, народным массам тем не менее пришлось бы или меньше потреблять, или больше производить. Не преувеличиваю ли я серьезность ситуации? Может быть, и преувеличиваю; был бы рад ошибиться. Но веду я вот к чему: среди тех, кто верен левой идеологии, сама эта проблема не может обсуждаться с откровенностью. Снижение зарплаты, увеличение продолжительности рабочего дня – такие меры считаются по самой своей сути антисоциалистическими, а поэтому должны быть отвергнуты с порога, как бы ни складывались дела в экономике. Стоит заикнуться, что эти шаги могут стать необходимыми, рискуешь тут же удостоиться всех тех эпитетов, которых мы так страшимся. Куда безопаснее избегать подобных тем, сделав вид, будто возможно поправить дело перераспределением существующего национального дохода.

Тот, кто принимает ту или иную ортодоксию, неизбежно принимает вместе с ней противоречия, которые ждут своего решения. Например, каждому разумному человеку отвратительна индустриализация с ее последствиями, однако ясна необходимость не препятствовать ей, а, наоборот, способствовать, потому что этого требуют борьба с бедностью и освобождение рабочего класса. Или другое: есть профессии, которые совершенно необходимы, однако без принуждения никто бы их для себя не избрал. Или третье: нельзя уверенно вести внешнюю политику, не располагая мощными вооруженными силами. Подобные примеры можно умножать и умножать. И всякий раз напрашивается вполне ясный вывод, который, однако, способны сделать лишь те, кто внутри себя свободен от официальной идеологии. Обычно же случается по-другому: вопрос, на который так и не найдено ответа, отодвигают куда-нибудь подальше, стараясь о нем не думать и по-прежнему повторяя слова-пароли со всей противоречивостью их смысла. Не придется рыться в

ворохах периодики, чтобы обнаружить последствия такого способа мышления.

Я, конечно, не хочу сказать, что духовная бесчестность свойственна одним социалистам и левым или свойственна им более, нежели другим. Речь идет только о том, что приверженность *любой* политической доктрине с ее дисциплинирующим воздействием, видимо, противоречит сути писательского служения. Это относится и к таким доктринам, как пацифизм или индивидуализм, хотя они притязают находиться вне каждодневной политической борьбы. Право же, все слова, кончающиеся на «*-изм*», приносят с собой душок пропаганды. Верность знамени необходима, однако для литературы она губительна, пока литературу создают личности. Как только доктрины начинают воздействовать на литературу, пусть даже вызывая с ее стороны лишь неприятие, результатом неизбежно становится не просто фальсификация, а зачастую исчезновение творческой способности.

Ну и что же из этого следует? Должны ли мы заключить, что обязанность каждого писателя – «держаться в стороне от политики»? Безусловно, нет! Ведь я уже сказал, что ни один разумный человек просто не может чураться политики, да и не чурается в такое время, как наше. Я не предлагаю ничего иного, помимо более четкого, нежели теперь, разграничения между политическими и литературными обязанностями, а также понимания, что готовность *совершать поступки* неприятные, однако необходимые, вовсе не требует готовности бездумно соглашаться с заблуждениями, которые им обычно сопутствуют. Вступая в сферу политики, писатели должны сознавать себя там просто гражданами, просто людьми, но *не писателями*. Не считаю, что ввиду утонченности восприятия, им свойственной, они вправе уклониться от будничной, грязной работы на ниве политики. Как все прочие, они должны быть готовы выступать в залах, продуваемых сквозняками, писать мелом лозунги на асфальте, агитировать избирателей, распространять листовки, даже сражаться в окопах гражданских войн, когда это нужно. Но какие бы услуги ни оказывали они своей партии, ни в коем случае не должны они творить во имя ее задач. Им надлежит твердо сказать, что творчество не имеет к этой деятельности никакого отношения, им необходима способность, поступая в согласии с этими задачами, полностью отвергнуть, когда это требуется, официальную идеологию. Ни при каких условиях нельзя им отступать от логики мысли, почуяв, что она ведет к еретическим выводам, и опасаться, что неортодоксальность распознают, как скорее всего и случится. Может быть, для

писателя даже скверный знак, когда его сегодня не подозревают в заигрывании с реакцией, точно так же, как двадцать лет назад плохо было дело, если его не обличали в приверженности к коммунизму.

Означает ли все сказанное, что писателю следует не только противиться диктату политических боссов, а лучше и вообще *не касаться* политики в своих книгах? И снова – безусловно, нет! Не существует причин, по которым нежелательно самым прямым образом затрагивать политику, если ему так хочется. Только пусть он говорит о ней как частное лицо, которое остается вне партии, или на крайний случай действует в качестве партизана на фланге регулярной армии, вовсе в нем не нуждающейся. Подобная позиция вполне совместима с обычной и полезной политической активностью. Скажем, когда писатель считает, что войну необходимо выиграть, пусть он в ней участвует как солдат, но откажется прославлять ее в своих книгах. Если это честный писатель, может случиться, что его творчество окажется в противоречии с его политическими акциями. Иногда этого в силу очевидных причин хотелось бы избежать; в таких случаях выход не в том, чтобы насиловать собственное вдохновение, а в том, чтобы промолчать.

Кому-то покажется пораженческим или двусмысленным мой совет писателю, когда накаляются конфликты, разделить свою деятельность на две несообщающиеся сферы; но я просто не вижу, как практически он может поступить иначе. Замыкаться в башне из слоновой кости немыслимо и нежелательно. Подчинять свою личность не только партийной машине, но даже идеологии, которую исповедует какая-то группа, значило бы покончить с собой как писателем. Мы чувствуем болезненность этой дилеммы так отчетливо, потому что осознали необходимость вторжения в политику, но вместе с тем поняли, насколько это грязное и унизительное дело. А в большинстве своем мы никак не расстанемся с верой в то, что любой выбор, даже любой политический выбор, всегда лежит между добром и злом, как и в то, что все необходимое тем самым справедливо. Думаю, пора нам расстаться с этими взглядами, уместными лишь в младенчестве. В политике не приходится рассчитывать ни на что, кроме выбора между большим и меньшим злом, а бывают ситуации, которых не преодолеть, не уподобившись дьяволу или безумцу. К примеру, война может оказаться необходимостью, но, уж конечно, не знаменует собой ни блага, ни здравого смысла. Даже всеобщие выборы трудно назвать приятным или возвышенным зрелищем. И если чувствуешь обязанность во всем этом участвовать – а, на мой взгляд, ее должен чувствовать

каждый за вычетом закрывшихся броней старческой немощи, глупости или лицемерия, – нужно суметь и свое «я» сберечь неприкосновенным. Для большинства людей эта проблема так не стоит, поскольку их жизнь и без того расщеплена. По-настоящему они живут лишь в часы, свободные от службы, и ничто не связывает их политическую деятельность с деловой. Да в общем-то от них и не требуют, чтобы они унижали собственную профессию ради политической линии. А от художника, в особенности от писателя, именно этого и добиваются; по сути, этого одного вечно требуют от них политики. Если писатель отвергает такие требования, не следует думать, что он обрек себя на пассивность. В любой из двух своих ипостасей, каждая из которых в каком-то смысле есть его целое, он может, коли нужно, действовать не менее решительно и напористо, чем все остальные. Но творчество, если оно обладает хоть какой-то ценностью, всегда будет результатом усилий того более разумного существа, которое остается в стороне, свидетельствует о происходящем, держась истины, признает необходимость свершающегося, однако отказывается обманываться насчет подлинной природы событий.

*Март 1948 г.*

# Политика против литературы. Взгляд на «Путешествия Гулливера»

[6]

В «Путешествиях Гулливера» Свифт ополчается против рода человеческого, точнее, подвергает его критике по меньшей мере с трех сторон, и неизбежно по ходу дела меняется облик главного персонажа, Гулливера. В первой части он предстает типичным путешественником восемнадцатого века – отважным, самоуверенным, практичным, без всякого романтического ореола; обыденность этой фигуры искусно донесена до читателя при помощи биографических подробностей, которыми он предваряет повествование, указания на возраст (к началу своих приключений он – сорокалетний отец двух детей) и точной описи предметов, находившихся в его карманах, – среди них особо выделены очки, он несколько раз их упоминает. Во второй части облик этот в значительной мере сохранен, но в нужные моменты герой начинает обнаруживать признаки идиотической глупости: хвастливо восславляя «…наше благородное отечество, владыку искусств и оружия, бич Франции» и т. д. и т. п., одновременно он предательски выбалтывает все ведомые ему скандальные факты о своей будто бы горячо любимой Англии. В третьей части он вроде бы тот же, что и в первой, хотя, общаясь с придворными и учеными, он внушает представление, что социальный статус его несколько повысился. В четвертой выясняется, что он питает отвращение к роду человеческому, хотя ранее это не ощущалось или ощущалось только моментами; теперь он оказывается каким-то неверующим отшельником с одним только желанием: поселиться в безлюдной местности и размышлять в уединении о добродетелях гуигнгнмов. Впрочем, это вынужденная непоследовательность автора – Гулливер требуется Свифту лишь для создания контрастных ситуаций. Он должен выглядеть здравомыслящим в первой части и хотя бы иногда казаться глупцом во второй, потому что в обеих книгах автор предпринимает, по сути, один и тот же маневр: ему надо показать человеческое существо в смехотворном виде, представив его человечком в шесть дюймов. Но во всех случаях, когда Гулливер не выставлен на посмешище, характер его сохраняет известную целостность, особенно в таких своих свойствах, как находчивость и наблюдательность ко всему материальному, что его окружает. В общем, он остается одним и тем же человеком, изображенным в той же стилистической манере, и когда уводит военный флот Блефуску, и когда вспарывает брюхо чудовищной крысы, и когда

плывет в открытом океане в утлой ладье, сшитой из шкур йэху. Да и как не понять, что в моменты наибольшего прозрения Гулливер не кто иной, как сам Свифт; можно привести по меньшей мере один эпизод, в котором Свифт явно дает волю личной обиде на современное общество. Мы помним, что, когда вспыхнул пожар во дворце короля Лилипутии, Гулливер погасил его струей своей мочи. Вместо того чтобы поздравить его с такой находчивостью, Гулливеру сообщают, что он совершил тягчайшее преступление, помочившись на королевский дворец…

«…Меня конфиденциально уведомили, что императрица была страшно возмущена моим поступком и переселилась в самую отдаленную часть дворца, твердо решив не реставрировать прежнего своего помещения; при этом она в присутствии своих приближенных поклялась отомстить мне».

По мнению профессора Дж. М. Тревельяна («Англия при королеве Анне»), карьере Свифта отчасти помешало то обстоятельство, что королева была шокирована «Сказкой бочки», памфлетом, который – так, очевидно, казалось Свифту – сослужил большую службу английской короне: ведь, обрушиваясь на диссентеров, а еще с большей силой на католиков, автор оставил в покое государственную церковь. Так или иначе, никто не станет отрицать, что «Путешествия Гулливера» – книга не только пессимистическая, но и мстительная, в которой – особенно в первой и третьей частях – Свифт часто опускается до узких политических пристрастий. В ней смешалось все: мелочность и великодушие, республиканизм и дух авторитарности, почтение к разуму и агностицизм. Столь присущее, как известно, Свифту свирепое отвращение к человеческой плоти становится господствующей чертой лишь в четвертой части, но эта его одержимость почему-то не удивляет. Чувствуешь, что все эти перемены, все эти перепады настроения терзали одну и ту же личность, а связь между политическими взглядами Свифта и его неизменным отчаянием – одна из самых интересных особенностей этой книги.

В политическом плане Свифт принадлежал к числу тех людей, которых безрассудства современной им прогрессивной партии вигов загоняли в извращенный торизм. Первая часть «Путешествий» – на поверхностный взгляд сатира, высмеивающая претензии человека на величие, – если всмотреться внимательнее, может быть воспринята как выступление против Англии, против господствующей партии вигов и против войны с Францией – войны, которая, как бы ни были низки мотивы союзников, все же спасла Европу от тиранического произвола одной-единственной реакционной державы. Свифт не был

якобитом, не был он, строго говоря, и тори, призывал он в этой войне всего лишь к заключению умеренного мирного договора, а не к поражению Англии. И все же в финале первой части чувствуется некий привкус «квислингизма», что слегка нарушает ее аллегорический замысел. Когда Гулливер бежит из Лилипутии (Англия) в Блефуску (Франция), авторская посылка, что человечек ростом в шесть дюймов должен вызывать презрение, каким-то образом исчезает. Если жители Лилипутии вели себя по отношению к Гулливеру самым предательским и гнусным образом, то в Блефуску его встречают искренне и радушно, да и весь финал этой части повествования звучит отлично от предшествующих глав. Совершенно ясно, что враждебность Свифта обращена прежде всего на Англию. Именно «ваших туземцев» (то есть соотечественников Гулливера) король Бробдингнега именует «выводком маленьких отвратительных пресмыкающихся, самых пагубных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности». А длинный пассаж в самом конце, обличающий колониализм и захват территорий, явно относится к Англии, хотя рассказчик самым тщательным образом пытается утверждать противоположное. С немалым ожесточением нападает Свифт в третьей части и на союзника Англии – Голландию, которая ранее послужила мишенью для одного из самых знаменитых его памфлетов. Нечто весьма личное звучит и в пассаже, в котором Гулливер высказывает свое удовлетворение тем, что иные из открытых им стран не могут быть превращены в колонии Британской короны.

«Правда, гуигнгнмы как будто не так хорошо подготовлены к войне, искусству, которое совершенно для них чуждо, особенно что касается обращения с огнестрельным оружием. Однако будь я министром, я никогда бы не посоветовал нападать на них… Представьте себе двадцать тысяч гуигнгнмов, врезавшихся в середину европейской армии, смешавших строй, опрокинувших обозы и превращающих в котлету лица солдат страшными ударами своих задних копыт…»

Так как Свифт слов на ветер не бросает, выражение «превращающих в котлету…», надо думать, приоткрывает тайное желание увидеть подвергнутые подобной участи непобедимые войска герцога Мальборо. Есть и другие примеры того же рода. Даже упомянутая в третьей части страна, где «…большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и помощниками, находящимися на жалованье у министров и депутатов», именуется у него Лангден, это – за исключением одной буквы –

анаграмма Англии. (А поскольку в ранних изданиях есть опечатки, возможно, это было задумано как полная анаграмма.) Что и говорить: вполне реально физическое отвращение Свифта к роду человеческому, однако возникает чувство, что все эти обличительные нападки на идею величия человека, все эти диатрибы, обращенные против лордов, политиканов, придворных фаворитов и пр., носят преимущественно локальный характер и объясняются его принадлежностью к партии, потерпевшей поражение. Гневно выступая против несправедливости и гнета, он, однако, не дает никаких оснований считать, что сочувствует демократии. При всем неизмеримом превосходстве силы и влиянии Свифта позиция его была очень близка той, что занимают в наши дни бесчисленные «умненькие» консерваторы – такие, как сэр Алан Герберт, профессор Дж. М. Янг, лорд Элтон; члены Комитета тори за реформы и целая когорта защитников католицизма – от У. Г. Мэллока и дальше; все они специализируются на острословии по поводу любых «современных» и «прогрессивных» тенденций и часто высказываются в самом крайнем духе, зная, что на реальный ход событий это повлиять не может. В конце концов можно сказать, что памфлет «Рассуждение об отмене христианства…» весьма напоминает нам манеру «Робкого Тимоти» отпускать веселые шуточки по адресу Мозгового Треста либо отца Рональда Нокса, который вскрывает ошибки Бертрана Рассела. И сам факт, что Свифту так легко прощали – прощали даже самые благочестивые верующие – кощунственные выходки в его «Сказке бочки», убедительно демонстрирует слабосилие религиозных чувств по сравнению с политическими.

Однако же реакционный склад мышления Свифта проявляется главным образом вне его политических пристрастий. Важную роль играет его отношение к Науке, или, в более широком плане, к интеллектуальной пытливости. Знаменитое описание академии в Лагадо в треть ей части «Путешествий» было сатирой – и, несомненно, оправданной – на деятельность большинства так называемых ученых его времени. Характерно, что людей, в этой академии работающих, Свифт именует «прожектерами», подчеркивая этим, что заняты они не бескорыстными научными исследованиями, а изобретением разного рода устройств, которые должны подменять человеческий труд и приносить небывалые доходы. Но при этом нет никаких оснований полагать – и через всю книгу проходят указания на противоположный вывод, – что и «чистая наука» нашла бы в Свифте своего приверженца. Он уже успел дать хорошего пинка в зад ученым более серьезного толка, когда изложил во второй

части мнения светил науки, призванных королем Бробдингнега, чтобы разъяснить природу миниатюрности Гулливера.

«После долгих дебатов они пришли к единодушному заключению, что я не что иное, как *рельплюм сколькатс*, что в буквальном переводе означает *Lusus Naturae* (игра природы), – определение как раз в духе современной европейской философии, профессора которой, относясь с презрением к ссылке на скрытые причины, при помощи которых последователи Аристотеля тщетно стараются замаскировать свое невежество, изобрели это удивительное разрешение всех трудностей, свидетельствующее о необыкновенном прогрессе человеческого знания».

Сама по себе эта цитата могла бы свидетельствовать лишь о том, что Свифт – всего лишь враг лженауки. Однако в целом ряде эпизодов он не жалеет сил, чтобы доказать бесполезность любых научных исследований либо спекуляций, если только они не преследуют практическую цель.

«Знания этого народа (бробдингнегов) очень недостаточны: они ограничиваются моралью, историей, поэзией и математикой, но в этих областях, нужно отдать справедливость, им достигнуто большое совершенство. Что касается математики, то она имеет здесь чисто прикладной характер и направлена на улучшение земледелия и всякого рода механизмов, так что у нас она получила бы невысокую оценку. А относительно идей, сущностей, абстракций и трансценденталей мне так и не удалось внедрить в их головы ни малейшего представления».

Страна гуигнгнмов – идеальных для Свифта существ – отсталое общество даже на уровне простейшей механизации. Они не знают металлов, никогда не слышали о лодках, фактически не занимаются и земледелием (нам сообщено, что овес, которым они кормятся, растет «естественно») и, по всей видимости, не изобрели колеса. (Гуигнгнмов, которые по старости не могут двигаться сами, возят на чем-то «вроде саней» – значит, не на колесах.) У них нет алфавита, им, очевидно, не присуща сколько-нибудь развитая любознательность по отношению к материальному миру. Они не могут поверить, что в мире есть еще какие-либо страны, кроме их собственной, и, хотя знакомы с движением Луны и Солнца и понимают природу затмений, «…это – предельное достижение их астрономии». По контрасту философы летающего острова Лапуты так глубоко погружены в математические размышления, что, дабы привлечь их внимание, надо хлопнуть их по уху надутым пузырем. Они каталогизировали десять тысяч неподвижных звезд, определили периоды движения девяноста трех комет и, опередив астрономов Европы, открыли, что у Марса – две Луны; все эти сведения Свифт

явно считает чем-то совершенно ненужным, смехотворным и не представляющим интереса. Как можно было ожидать, он видит место ученого – если тот вообще занимает какое-то место в жизни – лишь в лаборатории и считает, что научные познания не имеют ни малейшей связи с политическими вопросами.

«Но более всего меня поразила, и я никак не мог объяснить ее, замеченная мной у них сильная наклонность говорить на политические темы, делиться новостями и постоянно обсуждать государственные дела, внося в эти обсуждения необыкновенную страстность. Впрочем, ту же наклонность я заметил и у большинства европейских математиков, хотя никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой; разве только, основываясь на том, что маленький круг имеет столько же градусов, как и самый большой, они предполагают, что и управление миром требует не большего искусства, чем то, какое необходимо для управления и поворачивания глобуса».

Нет ли чего-то знакомого во фразе «…никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой»? Звучит она вполне в духе высказываний популярных апологетов католицизма, которых как будто бы удивляет, если ученый выражает свое мнение по таким вопросам, как существование Бога или бессмертие души. Ученый, говорят нам, является специалистом лишь в определенной, ограниченной области знания; с какой же стати мнения его могут представлять ценность в любой другой сфере? Под этим подразумевается, что теология – такая же точная наука, как, скажем, химия, и священник является таким же специалистом, мнения которого должны почитаться бесспорными. Свифт фактически требует того же для политического деятеля, но при этом идет еще дальше: не соглашается признать ученого – как работающего в сфере «чистой науки», так и занимающегося конкретными исследованиями – личностью, приносящей пользу и в своей области. Даже если бы он не написал третью часть «Путешествий», книга его в целом дает повод считать, что, как Толстой и Блейк, он с ненавистью относится к самой идее познания природы. «Разум» гуигнгнмов, которым он так восторгается, в основе своей не означает способности извлекать логические выводы из наблюдаемых фактов. Хотя об этом и не говорится прямо, из контекста следует, что под ним подразумевается либо здравый смысл, то есть приятие очевидных явлений и презрение к разного рода софизмам и абстракциям, либо свобода от страстей и предубеждений. В общем, мнение его сводится к тому, что все необходимое мы уже знаем сами и просто не умеем правильно использовать это знание. Так, например, медицина – наука

бесплодная, ибо, придерживаясь более естественного образа жизни, мы бы не страдали разными болезнями. Но при всем том Свифт – вовсе не приверженец «простой жизни» и совсем не склонен восхищаться Благородным Дикарем. Он – приверженец цивилизации и всех ее достижений. Он ценит хорошие манеры, умение вести беседу, даже знание литературы и истории; он понимает также необходимость и практическую выгоду изучения сельскохозяйственных наук, архитектуры и навигации. Однако конечная цель его – статическая, лишенная интеллектуальной пытливости цивилизация, точно такой мир, в каком он живет, только немножко почище и поразумнее, без каких-либо радикальных перемен, без дерзких вылазок в неведомое. Он чтит далекое прошлое, в особенности век античности, более, чем можно было бы ожидать от человека, столь свободного от распространенных заблуждений, и полагает, что современный человек за последние столетия резко деградировал[7].

Очутившись на острове чародеев и волшебников, где можно было по желанию вызвать души умерших, Гулливер просит «… вызвать римский сенат в одной большой комнате и для сравнения с ним современный парламент в другой. Первый казался собранием героев и полубогов, второй – сборищем разносчиков, карманных воришек, грабителей и буянов». Хотя Свифт в этом разделе третьей части подверг разрушительной критике правдивость исторических представлений, дух критицизма покидает его, как только он обращается к древним грекам и римлянам. Разумеется, он не приемлет коррупцию имперского Рима, но к некоторым крупным фигурам Древнего мира он питает почти безрассудное восхищение.

«При виде Брута я проникся глубоким благоговением; в каждой черте этого благородного лица нетрудно было увидеть самую совершенную добродетель – величайшее бесстрастие и твердость духа, преданнейшую любовь к родине и благожелательность к людям… Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом, в которой он, между прочим, сообщил мне, что его предок Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон Младший, сэр Томас Мур и он сам всегда находятся вместе: секстумвират, к которому вся история человечества не может добавить седьмого члена».

Следует отметить, что из шести человек только один – христианин. Это очень важно. Соединив в одно общее свифтовский пессимизм, его благоговейное отношение к прошлому, отсутствие любознательности, отвращение к человеческому телу, мы, таким образом, обнаружим мировоззрение, характерное для религиозных реакционеров, то есть людей, которые защищают несправедливый общественный

строй, утверждая, что в этом мире существенные улучшения невозможны, а главным остается «мир иной». Однако же Свифт не проявляет никаких признаков религиозности, во всяком случае, в обычном толковании этого понятия. Похоже, что он не очень-то верит в жизнь после смерти, а представления о благе связаны у него с идеями республиканизма, любовью к свободе, храбростью, доброжелательностью (под которой он разумеет дух патриотизма), «разумом» и прочими языческими добродетелями. Все это наводит на мысль, что в облике Свифта есть и нечто не вполне совместимое с его неверием в прогресс и ненавистью к роду человеческому.

Начать с того, что в какие-то моменты он бывает «конструктивным» и даже «передовым». Эпизодическая непоследовательность несколько оживляет утопии, а Свифт порой вставляет словечко одобрения в пассаж, сатирический по замыслу. Скажем, мысли свои относительно обучения молодежи он приписывает обитателям Лилипутии, которые выражают по этому поводу мнения, почти совпадающие с правилами гуигнгнмов. Более того, у лилипутян существует целый ряд общественных и правовых институтов (например, пенсии по старости, а также поощрения тем, кто исполняет закон, и наказания для тех, кто его нарушает), которые он хотел бы видеть в собственной стране. В середине этого пассажа Свифт вспоминает о своем сатирическом замысле. «Описывая как эти, так и другие законы империи, – добавляет он, – …я хочу предупредить читателя, что мое описание касается только исконных установлений страны, не имеющих ничего общего с современной испорченностью нравов, являющейся результатом глубокого вырождения». Но поскольку предполагается, что Лилипутия призвана изображать Англию, а в Англии нет ничего похожего на установления, о которых идет речь, совершенно ясно, что Свифт поддался импульсу выступить с конструктивными предложениями. Величайшим его вкладом в политическую мысль – в узком смысле этого понятия – надо считать гневный сарказм, который он обрушивает, особенно в третьей части, на тоталитарное, выражаясь по-современному, общество. С необыкновенной провидческой ясностью видит он кишащее шпионами «полицейское государство» с его бесконечной охотой на еретиков и судами над «изменниками родины», рассчитанными на то, чтобы нейтрализовать народное недовольство, обращая его в военную истерию. При этом стоит вспомнить, что Свифту удалось развернуть картину целого по незначительным деталям, так как маломощные правительства в его эпоху не давали возможности полностью подтвердить то, что

было создано его воображением. Так, например, один из профессоров «школы политических прожектеров» показал Гулливеру обширную рукопись «инструкций для открытия противоправительственных заговоров» и заявил, что можно распознавать самые тайные помыслы людей, исследуя их экскременты, «…ибо люди никогда не бывают так серьезны, глубокомысленны и сосредоточенны, как в то время, когда они сидят на стульчаке, в чем он убедился на собственном опыте; в самом деле, когда, находясь в таком положении, он пробовал, просто в виде опыта, размышлять, каков наилучший способ убийства короля, то кал его приобретал зеленоватую окраску, и цвет его был совсем другой, когда он думал только о поднятии восстания или о поджоге столицы».

Этот профессор и его теория были подсказаны Свифту, полагают литературоведы, одним не столь уж удивительным или отвратительным, на наш взгляд, фактом: в одном из государственных судебных процессов того времени были использованы в качестве улик письма, найденные в чьем-то нужнике. А несколько ниже, в той же самой главе, мы словно попадаем в самый разгар русских политических процессов 1930-х годов:

«В королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден… большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных…

…Прежде всего они соглашаются и определяют промеж себя, кого из заподозренных лиц обвинить в составлении заговора; затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их авторов заковать в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальных знатоков, больших искусников по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв… Если этот метод оказывается недостаточным, они руководствуются двумя другими, более действенными, известными между учеными под именем акростихов и анаграмм. Один из этих методов позволяет им расшифровать все инициалы согласно их политическому смыслу. Так, N будет означать заговор, B – кавалерийский полк, L – флот на море. Пользуясь вторым методом, заключающимся в перестановке букв подозрительного письма, можно прочитать самые затаенные мысли и узнать самые сокровенные намерения недовольной партии. Например, если я в письме к другу говорю: «Наш брат Том нажил геморрой», – искусный дешифровальщик из этих самых букв прочитает фразу, что заговор открыт, надо сопротивляться и т. д. Это и есть анаграмматический метод».

Другие профессора этой же школы изобретают упрощенные языки, сочиняют книги с помощью специальных станков, обучают студентов, заставляя их глотать облатки, на которых записан текст урока, предлагают устранять различия в мыслях, производя обмен мозгами посредством отпиливания части затылка… есть нечто странно знакомое в самой атмосфере этих глав: через все это изобретательное дурачество проходит мысль, что тоталитаризм стремится не только заставить людей думать надлежащим образом, но и притупить их сознание. Да и свифтовское описание вождя, царящего над племенем йэху, и «фаворита», который сначала исполняет грязную работу, чтобы затем стать козлом отпущения, на редкость хорошо вписывается в наше собственное время. Однако следует ли из всего этого, что Свифт был прежде всего и главным образом врагом тирании и борцом за свободу мысли? Нет, собственные убеждения его, насколько можно определить, далеко не столь либеральны. Сомнений не возникает: он действительно ненавидит лордов, королей, епископов, генералов, светских дам, титулы, знаки отличия и прочую дребедень, но нигде не видно, что о простых людях он более высокого мнения, чем об их правителях, что он стоит за большее социальное равноправие либо увлекается идеями репрезентативных общественных институтов. Общество гуигнгнмов организовано по определенной кастовой системе, в основе которой – расовое начало; слуги, выполняющие самую тяжелую работу, отличаются по цвету кожи от своих хозяев и не скрещиваются с ними. Система образования, которой восхищается Свифт у лилипутян, подразумевает как нечто совершенно естественное наследственные классовые различия, и дети из беднейших классов вообще не посещают школы; поскольку «…они предназначены судьбой возделывать и обрабатывать землю, то их образование не имеет особого значения для общества». Не скажешь, что он активно выступал за свободу слова и печати, несмотря на то что к собственным его писаниям проявлялось очень терпимое отношение. Короля бробдингнегов поражает многочисленность и многообразие религиозных сект и политических группировок в Англии, и он находит, что «…тот, кто исповедует мнения, пагубные для общества» (в этом контексте попросту еретические), обязан если не изменить их, то, во всяком случае, держать при себе, ибо: «Если требование перемены убеждений является правительственной тиранией, то дозволение открыто исповедовать мнения пагубные служит выражением слабости». Есть и более тонкое указание на суть собственных взглядов Свифта: мы обнаруживаем его в рассказе о том, каким образом

Гулливер был вынужден покинуть страну гуигнгнмов.

Свифт нередко предстает перед нами своего рода анархистом, а в четвертой части создана картина анархического общества, управляемого не Законом в общепринятом смысле слова, а Разумом, диктат которого, видимо, ни у кого не вызывает возражений. Генеральная ассамблея гуигнгнмов «увещевает» хозяина Гулливера изгнать его из страны, и соседи оказывают на него давление, вынуждая в конце концов дать свое согласие. Они выдвигают две причины: во-первых, присутствие необычного йэху может породить беспорядок в среде этих существ; во-вторых, дружественное отношение гуигнгнма к йэху «…противно разуму и природе и является вещью, никогда прежде не слыханной у них». Хозяину Гулливера не очень-то хочется подчиниться, но с «увещеванием» (нам сообщают, что гуигнгнму никогда не отдают приказов, его только «увещевают» или «убеждают») необходимо считаться. Эта ситуация очень наглядно обнаруживает тенденцию к тоталитаризму, заключенную в анархистской или пацифистской концепции общества. В обществе, где нет закона и – теоретически – принуждения, общественное мнение является единственным арбитром, определяющим нормы поведения отдельной личности. Но это общественное мнение в силу огромной тяги стадных животных к единообразию отличается еще меньшей терпимостью, чем любая система, основанная на законах. Когда человеческое сообщество управляется определенными «заповедями», которые нельзя «преступить», тот или иной индивид имеет возможность проявлять некоторую эксцентричность в своем поведении. Но когда это сообщество управляется – теоретически – лишь «любовью» или «разумом», личность испытывает постоянное давление, вынуждающее ее и думать, и поступать, как все, без всяких отклонений. Нам сообщают, что гуигнгнмы почти не ведали разногласий ни по одному во просу. Единственным вопросом, который они когда-либо подвергли обсуждению, была дальнейшая участь племени йэху. Во всех других случаях никаких поводов для споров не возникало: истина была либо самоочевидна, либо непознаваема и потому не имела значения. В их языке, видимо, вообще не было слова «мнение», а в разговорах не проявлялось различий в «чувствах». Фактически они достигли высшей стадии тоталитарной организации общества, стадии, при которой конформизм стал настолько всеобъемлющим, что отпала всякая надобность в полиции. Такое положение дел Свифт явно одобряет, поскольку среди многих его дарований и качеств не нашлось места для любознательности и добродушия. Инакомыслие всегда представляется ему просто извращенностью ума. «Для них разум, – говорит он, – не является, как для нас,

инстанцией проблематической, снабжающей одинаково правдоподобными доводами «за» и «против»; напротив, он действует на мысль с непосредственной убедительностью, как это и должно быть, когда он не осложнен, не затемнен и не обесцвечен страстью и интересом». Другими словами, нам уже все обо всем известно, к чему же нам допускать высказывания противоречащих мнений? Такая установка, естественно, приводит к тоталитарному обществу гуигнгнмов, где нет ни свободы, ни развития.

Мы справедливо видим в Свифте мятежника и борца против предрассудков, но, не считая второстепенных моментов – как, например, его убежденности, что женщинам следует получать то же образование, что и мужчинам, – во всем остальном он не дает оснований причислить себя к левым. Свифт – консервативный анархист, который, презирая власть, не верит в свободу и не расстается с аристократическим взглядом на общество, отлично понимая, что современная ему выродившаяся аристократия достойна лишь презрения. Когда он произносит очередную свою диатрибу против богачей и власть имущих, следует, как я уже сказал, часть его пыла отнести на счет того обстоятельства, что сам он принадлежал к менее удачливой партии и испытал разочарования в личной жизни. По вполне ясным причинам «аутсайдеры» всегда оказываются радикальнее «своих»[8].

Но самое существенное у Свифта – его неспособность поверить в то, что можно сделать более достойной нашу бренную жизнь, а не какую-то лишенную плоти рационалистическую схему быта. Разумеется, ни один честный человек не скажет, что сейчас счастье может быть названо нормальным явлением среди взрослых людей, но, быть может, оно когда-нибудь станет таковым – именно на этом вопросе и зиждется вся серьезная политическая полемика. У Свифта есть много общего – мне кажется, больше, чем было до сих пор замечено, – с Толстым, еще одним мыслителем, не верящим в возможность земного счастья. Обоим был присущ анархический взгляд на общество, за которым скрывался авторитарный склад ума, оба враждебно относились к науке и нетерпимо – к попыткам оспорить их мнения, оба не способны были придавать значение чему-либо, их лично не интересующему; наконец, и у того и у другого был какой-то ужас перед реальным течением жизни, хотя Толстой пришел к этому позже и по другим причинам. Обоих мучили вопросы пола, но также по разным причинам, общим было лишь искреннее отвращение к сексу – с изрядной примесью болезненного влечения к нему. Толстой был раскаявшимся распутником, который проповедовал воздержание, но до глубокой старости не

следовал собственной проповеди. Свифт, по всей вероятности, был импотентом и всегда испытывал какое-то гиперболическое омерзение к человеческим нечистотам, а думал на эту тему непрестанно, о чем свидетельствуют его произведения. Люди такого типа вряд ли способны оценить даже ту мизерную долю счастья, что достается большинству человеческих существ, и – по вполне понятным мотивам – не склонны считать возможными и значительные улучшения в жизни земной. И нелюбопытство их, и нетерпимость – из одного и того же источника.

Омерзение, злость, пессимизм Свифта были бы понятны, взирай он на нашу жизнь как на переходную ступень к «миру иному». Но поскольку ни во что подобное он, очевидно, не верит, возникает необходимость сконструировать некий рай на земной поверхности, ничего общего не имеющий с ведомой нам реальностью. В нем нет места всему, что не нравится Свифту: лжи, глупости, переменам, восторженным чувствам, удовольствиям, любви и грязи. В качестве идеального существа он избирает лошадь – животное, экскременты которого наименее противны. Гуигнгнмы – очень скучная скотинка; факт настолько общепризнанный, что нет надобности его чем-либо обосновывать. Гений Свифта придал им правдоподобность, но вряд ли найдется много читателей, способных испытывать к ним что-либо, кроме неприязни. И вызвано это чувство совсем не уязвленным самолюбием человека, которому предпочли лошадь; ведь гуигнгнмы гораздо больше напоминают людей, чем йэху, и есть некая абсурдная нелогичность в том, что Гулливер, испытывая ужас перед йэху, в то же время видит в них существа одной с ним породы. Ужас этот охватывает его при первом же взгляде на йэху. «…Я никогда еще, во все мои путешествия, не встречал более безобразного животного, которое с первого же взгляда вызывало к себе такое отвращение». Отвращение – но по сравнению с кем? Во всяком случае, не с гуигнгнмом, потому что ни одного гуигнгнма он пока еще не встретил. Значит, по сравнению с самим собой, то есть с человеком. Однако в дальнейшем нам сообщается, что йэху – это и есть человек, и человеческое общество делается невыносимым для Гулливера именно потому, что все люди – это йэху. Но в таком случае почему он еще раньше не возымел отвращения к роду человеческому? И вот, в попытке свести концы с концами, Свифт говорит, что йэху самым фантастическим образом отличаются от людей, являясь в то же время людьми. Свифт явно захлебывается в собственной ненависти, когда кричит своим соплеменникам: «Вы еще грязнее, чем кажетесь!» Но конечно, испытывать симпатию к йэху нельзя, и непривлекательность гуигнгнмов объясняется вовсе не тем, что

они господствуют над йэху. Непривлекательны они тем, что «Разум», который правит их жизнью, оказывается, по сути, тяготением к смерти. Не ведают они любви и дружбы, любознательности, страха, печали, не ведают гнева и ненависти – если не считать их отношения к йэху, которые в этом обществе занимают примерно то же место, что евреи в нацистской Германии. «Они не балуют своих жеребят, но заботы, проявляемые родителями по отношению к воспитанию детей, диктуются исключительно разумом». «Дружба и доброжелательство являются двумя главными добродетелями гуигнгнмов, и они не ограничиваются отдельными особями, но простираются на всю расу». Ценят они также беседы, но в беседах этих никогда не вы сказываются несходные мнения: «… говорилось только о деле, а речи выражались в очень немногих, но полновесных словах». У них строгий контроль над рождаемостью: каждая пара, произведя на свет двух отпрысков, прекращает половые отношения. Браки между молодыми устраивают старшие, по евгеническим принципам, и в языке их нет слов, обозначающих плотскую любовь. Когда кто-нибудь умирает, родные продолжают обычную жизнь, не испытывая ни малейшей скорби. Все это, вместе взятое, свидетельствует, что стремятся они как можно больше уподобиться трупу, сохраняя при этом физическое существование. Правда, кое-какие черты, им присущие, не укладываются в рамки «разумности» – в их понимании этого слова. Например, они придают особое значение не только физической выносливости, но и атлетике, к тому же любят поэзию. Но эти исключения, быть может, не столь непоследовательны, как кажется. Вероятно, Свифт подчеркивает атлетические свойства гуигнгнмов, дабы убедить читателей, что никогда благородные лошади не будут побеждены презренным родом человеческим; а склонность к поэзии присуща им потому, что поэзия представляется Свифту антитезой науки, самого бесполезного, на его взгляд, занятия на свете.

В части третьей он называет «воображение, фантазию и изобретательность» тремя желательными качествами, которыми не обладают лапутянские математики (несмотря на свою любовь к музыке). Следует предположить, что хотя Свифт великолепно владел жанром комической поэзии, вероятнее всего, наибольшее значение он придавал поэзии дидактической. О стихотворстве гуигнгнмов он говорит так: «…в поэзии они превосходят всех остальных смертных: меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Стихи их изобилуют теми и другими фигурами, и темой их являются либо возвышенное изображение дружбы и доброжелательства, либо

восхваление победителей на бегах или других телесных упражнениях».

Увы, даже гениальный дар Свифта не помог ему создать образчик творения, по которому можно было бы судить о поэтическом искусстве гуигнгнмов. Но можно представить себе, что это было нечто весьма напыщенное и холодное (по всей вероятности, рифмованные двустишия в размере пятистопного ямба) и, в общем, не противоречащее принципам «Разума».

Как известно, состояние счастья с большим трудом поддается изображению, и потому картины справедливого, упорядоченного общества редко кажутся привлекательными или убедительными. И все же большинство создателей «положительных» утопий стараются показать, какой может стать наша жизнь, если мы сумеем пользоваться ею более полно. А Свифт проповедует попросту отказ от полноты жизни, обосновывая это требование тем, что «Разум» означает подавление естественных инстинктов. Поколение за поколением гуигнгнмы, эти лишенные своей истории существа, ведут осмотрительный и расчетливый образ жизни, поддерживая один и тот же объем населения, не ведая страстей, не зная болезней, с полным безразличием встречая смерть, воспитывая в таком же духе свою молодежь, – и во имя чего? Во имя того, чтобы процесс этот продолжался до бесконечности. У них начисто отсутствуют представления о ценности нашего сегодняшнего бытия на этой земле, либо о том, что можно изменить жизнь и придать ей большую ценность, либо – что надо пожертвовать жизнью ради грядущего блага. Свифт органически не мог сотворить иную утопию, чем унылый мир гуигнгнмов, раз он не верил в загробную жизнь и не был способен извлекать удовольствие из нормальных человеческих отношений определенного рода. Однако унылый этот мир сочинен автором не потому, что кажется ему столь уж привлекательным сам по себе, – он должен служить оправданием для новых выпадов против рода человеческого. Конечная цель Свифта – как всегда, унижение человека, для чего следует еще раз напомнить, что человек слаб, жалок и нелеп, а главное – вонюч; а подспудный мотив – надо полагать, какая-то зависть, зависть призрака к живущему, зависть человека, знающего, что счастье ему недоступно, к другим, тем, кто, может быть, как он боится, чуть счастливее его. В политическом плане подобное мироощущение выражается либо в реакционности, либо в нигилизме, поскольку такая личность стремится помешать обществу развиваться, что могло бы раскрыть несостоятельность ее пессимизма. Помешать можно двумя способами: взорвать все к черту или стараться отвращать от социальных перемен. В конечном итоге Свифт

избрал первый путь: он взорвал свой мир к черту, погрузившись в безумие, но при этом – что я и пытался доказать – политические цели его носили в целом реакционный характер.

Все сказанное может создать впечатление, что я против Свифта и цель моя – опровергнуть или даже принизить этого писателя. Да, в политическом и моральном аспектах я против того, за что он ратует, насколько позиция его доступна моему пониманию. Но как ни удивительно, он принадлежит к числу писателей, вызывающих мое безграничное восхищение, а «Путешествия Гулливера» – книга, которой я просто не могу начитаться досыта. Впервые я прочел ее в восемь лет, точнее, за день до своего восьмилетия, потому что я стащил и тайком проглотил приготовленное к моему дню рождения издание «Путешествий», и с тех пор перечитывал их не менее шести раз. Очарование их неувядаемо. Если бы мне пришлось составить список из шести книг, которые надо спасти от гибели, «Путешествия Гулливера», несомненно, оказались бы в этом списке. И потому возникает вопрос: как соотносится наша оценка взглядов писателя с наслаждением, которое доставляет нам его творчество?

Человек, способный проявить интеллектуальную беспристрастность, в состоянии распознать достоинства писателя, с которым глубоко расходится во взглядах, однако наслаждение его творчеством – совсем иное дело. Предположим, что существует такое явление, как искусство хорошее и плохое, – в таком случае и то и другое качества должны быть заложены в самом произведении искусства, конечно, не в отрыве от воспринимающей личности, но независимо от ее расположения духа. Так что с этой точки зрения стихотворение не может казаться хорошим в понедельник и плохим – во вторник. Но если вы судите эти стихи по тому душевному, эстетическому отклику, который они у вас вызывают, то такое допущение верно, ведь душевный отклик или эстетическое наслаждение – чисто субъективное состояние, которым нельзя управлять. Читатель – даже с самым развитым эстетическим вкусом – далеко не в каждый момент своего бытия проявляет эстетическое чувство, и чувство это очень легко подавляется. Если вы напуганы или голодны, мучаетесь зубами или морской болезнью, то «Король Лир» кажется вам не лучше «Питера Пэна». Умом вы понимаете, что лучше, но пока что для вас это просто факт, запавший в память, и ощутить достоинства «Лира» вы сможете, только вернувшись в нормальное состояние. И столь же разрушительно, нет, еще более разрушительно – потому что причины этого не сразу осознаются – воздействует неприятие вами политической

или моральной позиции автора. Если книга вызывает у вас гнев, если она звучит оскорбительно или внушает тревогу, то, каковы бы ни были ее литературные достоинства, удовольствия она вам не доставит. А если она представляется вам по-настоящему вредным произведением, которое может скверно влиять на читателей, не исключено, что вы постараетесь выработать соответствующую эстетическую установку, позволяющую опровергнуть и художественные ее достоинства. Большая часть нашей современной литературной критики сводится к такому непрестанному лавированию между двумя разными критериями. И все же вполне возможен и противоположный результат: читательское удовольствие побеждает внутреннее сопротивление, при том что вы отлично сознаете свою враждебность идеям автора, книга которого вас так увлекает. Отличный пример – Свифт, писатель со столь неприемлемым для большинства людей взглядом на мир и в то же время столь популярный. Как же это получается: мы терпим, когда нас именуют йэху, будучи твердо уверенными, что никакие мы не йэху?

Недостаточно ответить, что Свифт, конечно, заблуждался, он был сумасшедшим, но он был «хорошим писателем». Верно, что в какой-то незначительной мере литературные достоинства произведения отделимы от его содержания. Есть люди, обладающие врожденным даром слова, подобно тому как есть люди «с точным глазом», который помогает им в играх. Дело здесь заключено главным образом в инстинктивном умении расставлять акценты – в нужный момент и нужной силы. Вот первый пришедший на ум пример: прочтите уже цитированный мною пассаж, начинающийся словами: «В королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден…» Особую силу придает ему финальная фраза: «Это и есть анаграмматический метод». Фраза, строго говоря, ненужная, ибо «анаграмматический метод» только что был подробно описан, но именно издевательская торжественность повтора, когда нам словно слышен голос самого Свифта, изрекающего эти слова, вбивает в сознание всю идиотичность происходящего – последний удар молотка, вогнавшего гвоздь по самую шляпку. Однако же ничто – ни мощная простота свифтовской прозы, ни напор его воображения, благодаря которому картины совершенно невероятных миров оказываются убедительнее и правдоподобнее, чем большая часть исторических исследований, – не позволило бы нам наслаждаться чтением Свифта, будь его взгляд на мир истинно отталкивающим и оскорбительным. Миллионы читателей во многих странах увлекались «Путешествиями Гулливера», в большей или меньшей степени ощущая антигуманистический подтекст книги. И даже до

ребенка, читающего первую и вторую части просто как приключенческую историю, доходит абсурдность шестидюймовых человечков, претендующих на звание людей. Объяснение, очевидно, кроется в том, что взгляд Свифта на мир не воспринимается как полностью ложный, или, точнее, не всегда воспринимается как ложный.

Свифт – неизлечимо больной писатель. Он постоянно пребывает в депрессии – состоянии, которое большинство людей испытывает лишь периодически; представим себе, что человеку, страдающему разлитием желчи или еще не оправившемуся от тяжелого гриппа, хватает энергии, чтобы писать книги. Всем знакомо это состояние, и какая-то струнка в нас отзывается, когда мы встречаем его в литературном произведении. Возьмем, например, одно из характерных стихотворений Свифта «Туалетная комната дамы» или в том же духе написанное «На отход ко сну прелестной юной нимфы». Что истинней: точка зрения Свифта, выраженная в этих стихах, или видение Блейка, запечатленное в строке «Божественно ее нагое тело»? Блейк, бесспорно, ближе к правде, но кому не доставит удовольствия зрелище развенчанной подделки – фальшивой женской утонченности? Свифт искажает реальность в своих картинах мира, потому что отказывается видеть в нем что-либо, кроме грязи, глупости и пороков, но ведь часть, извлекаемая им из целого, действительно существует, и все мы это знаем, предпочитая, однако, не касаться подобных тем. Частью своего разума, у нормального человека преобладающей, мы верим в то, что человек – благородное животное и жить на этой земле стоит, но есть в каждом из нас некое внутренне «я», и порой оно в ужасе отшатывается от кошмара существования. Радости и отвращение сплетаются воедино непостижимейшим образом. Тело человеческое прекрасно, но оно может быть уродливым и смешным – в чем легко убедиться в любом плавательном бассейне. Половые органы служат предметом вожделения, но и омерзения; ведь недаром почти во всех языках названия их звучат как непристойные ругательства. Мясо не обыкновенно вкусно, но в лавке мясника нас тошнит, да и все, чем мы питаемся, в конечном счете – производное от навоза и мертвечины, двух самых отвратительных для нас вещей на свете. Вышедший из младенческого возраста, но еще сохраняющий свежий взгляд на окружающее ребенок постоянно испытывает не только удивление, но и чувство пугливого отвращения: к соплям и плевкам, к собачьему дерьму на тротуаре, к издыхающей жабе, в которой шевелятся черви, к запаху потных тел взрослых, к безобразию стариков с их голыми черепами и шишковатыми носами.

Бесконечно толкуя о всевозможных болезнях, грязи и уродствах, Свифт, по существу, не открывает нам ничего нового, он просто говорит не обо всем. Правдиво описывает он также и поведение человека, особенно в сфере политики, хотя и здесь существуют другие, более важные факторы, которых он признавать не желает. По нашему разумению, и ужас, и боль необходимы для продолжения жизни на этой планете, что дает основания пессимистам, подобным Свифту, задаваться вопросом: «Если ужас и боль неотъемлемы от нашего бытия, как можно надеяться сделать жизнь лучше?» В основе своей это христианская доктрина минус посулы «мира иного» – который, вероятно, меньше владеет душами верующих, чем убежденностью, что земная жизнь – удел слез, а могила – место успокоения. Я убежден в ошибочности такого взгляда и в том, что он может самым вредным образом влиять на человеческие поступки, но что-то в нас отзывается на него, как отзывается на мрачное звучание заупокойной службы сладковатый запах мертвого тела в деревенской церкви.

Зачастую высказывается мнение – во всяком случае, теми, кто придает особую важность содержательности литературы, – что книга не может быть «хорошей», отражая заведомо ложный взгляд на жизнь. Нам внушают, что применительно к современности каждое произведение, обладающее подлинными литературными достоинствами, должно быть более или менее «прогрессивным» по своим тенденциям. При этом упускается из виду, что на протяжении всей человеческой истории бушевали такие же войны между прогрессивными и реакционными силами, а лучшие книги в каждую эпоху всегда выражали самые различные позиции, в том числе заведомо ложные.

В той мере, в какой писатель является пропагандистом, самое большее, что можно требовать от него: пусть он искренне верит в то, что высказывает, и пусть не говорит явных глупостей. В наши дни, например, вполне можно представить себе хорошую книгу, написанную католиком, коммунистом, фашистом, пацифистом, анархистом, быть может, либералом старого толка или обычным консерватором; но нельзя вообразить, что хорошую книгу напишет спирит, бухманит или куклуксклановец. Взгляды писателя должны быть совместимы со здравомыслием – в медицинском смысле этого слова – и с энергией действенной мысли; кроме этого, мы ждем от него только таланта, под которым, вероятно, подразумевается убежденность.

Свифту не была дана обычная житейская мудрость, но дана была грозная интенсивность видения, способного извлечь, увеличить и тем самым исказить какую-то одну потаенную

истину. Долговечность «Путешествий Гулливера» доказывает, что мировоззрение, подкрепленное силой убежденности, даже если оно на грани безумия, способно породить великое произведение искусства.

*Сентябрь – октябрь 1946 г.*

# Уэллс, Гитлер и Всемирное государство

[9]

«В марте или апреле, утверждают любители пророчеств, по Англии будет нанесен сокрушительный удар… Трудно сказать, каким способом Гитлер намерен его нанести. Его ослабленные и распыленные военные части в настоящее время, по-видимому, не намного превосходят силы итальянцев, перед тем как их проверили делом в Греции и в Африке».

«Воздушное могущество немцев почти иссякло. Их авиация не отвечает современному уровню, а лучшие летчики либо погибли, либо вымотались и утратили боевой дух».

«В 1914 году за Гогенцоллернами была лучшая армия в мире. А за этим крикливым берлинским пигмеем нет ничего, с ней сопоставимого… И все равно наши военные «эксперты» твердят об ожидаемом наступлении, хотя это только фантом. Им грезится, будто немецкие войска великолепно оснащены и безупречно выучены. То нам говорят, что будет осуществлен решающий «удар» через Испанию и Северную Африку, то рассуждают о броске через Балканы, о наступлении от Дуная к Анкаре и дальше – на Персию, на Индию, – то об «уничтожении» России, то о «лавине», которая обрушится на Италию через перевал Бреннер. Проходит неделя за неделей, а фантом все остается фантомом, и ни одно из этих предсказаний не сбывается – по очень простой причине. А причина та, что ничего этого немцы осуществить не могут. Их пушки, их снаряжение слишком несовершенны, да и то, что у них было, большей частью бессмысленно потеряно из-за глупых попыток Гитлера вторгнуться на Британские острова. А вся их примитивная выучка наспех идет прахом, едва появилось понимание, что блицкриг провалился и что война – дело долгое».

Приведенные цитаты заимствованы не из кавалерийского журнала, а из серии газетных статей Герберта Уэллса, написанных в начале этого года, а теперь изданных книгой под заглавием «Путеводитель по новому миру». С тех пор как они были напечатаны, немецкая армия оккупировала Балканы и снова заняла Киренаику, она может, как только сочтет это целесообразным, двинуться и через Турцию, и через Испанию, она вторглась в Россию. Чем закончится эта последняя ее кампания, сказать не берусь, но все-таки замечу, что германский Генеральный штаб, чьи расчеты следует принимать всерьез, не начал бы операцию без твердой уверенности, что ее можно успешно завершить месяца за три. Вот так обстоит дело с немецкой армией, которой всего лишь пугают, не сообразив, как

плохо она оснащена, как ослабела боевым духом и прочее. А что может Уэллс противопоставить «крикливому берлинскому пигмею»? Лишь обычное пустословие насчет Всемирного государства да еще декларацию Сэнки, которая представляет собой попытку определить основные права человека, сопровождаясь антивоенными высказываниями. За вычетом того, что Уэллса ныне особенно заботит, чтобы мир договорился о контроле над военными операциями в воздухе, это все те же самые мысли, которые он вот уже лет сорок непрерывно преподносит с видом проповедника, возмущенного глупостью слушателей, – подумать только, они не способны усвоить столь очевидные истины!

Но много ли проку утверждать, что необходим международный контроль над военными действиями в воздухе? Весь вопрос в том, как его добиться. Какой смысл разъяснять, до чего желательно было бы Всемирное государство? Главное, что ни одна из пяти крупнейших военных держав не допускает и мысли о подобном единении. Всякий разумный человек и прежде в основном соглашался с идеями Уэллса; но, на беду, власть не принадлежит разумным людям, и сами они слишком часто не выказывают готовности приносить себя в жертву. Гитлер – сумасшедший и преступник, однако же у Гитлера армия в миллионы солдат, у него тысячи самолетов и десятки тысяч танков. Ради его целей великий народ охотно пошел на то, чтобы пять лет работать с превышением сил, а вслед за тем еще два года воевать, тогда как ради разумных и в общем-то гедонистических взглядов, излагаемых Уэллсом, вряд ли кто-то согласится пролить хоть каплю крови. И прежде чем заводить речь о переустройстве жизни, даже просто о мире, надо покончить с Гитлером, а для этого потребуется пробуждение энергии, которая не обязательно будет столь же слепой, как у нацистов, однако не исключено, что она окажется столь же неприемлемой для «просвещенных» гедонистов. Что позволило Англии устоять в последний год? Отчасти, бесспорно, некое смутное представление о лучшем будущем, но прежде всего атавистическое чувство патриотизма, врожденное у тех, чей родной язык английский, – ощущение, что они превосходят всех остальных. Двадцать предвоенных лет главная цель английских левых интеллигентов состояла в том, чтобы подавить это ощущение, и, если бы им удалось добиться своего, мы бы уже видели сейчас эсэсовские патрули на улицах Лондона. А отчего русские с такой яростью сопротивляются немецкому вторжению? Отчасти, видимо, их воодушевляет еще не до конца забытый идеал социалистической утопии, но прежде всего – необходимость защищать Святую Русь («священную землю

отечества» и т. п.), о которой теперь вспомнил и говорит почти этими именно словами Сталин. Энергия, действительно делающая мир тем, что он есть, порождается чувствами – национальной гордости, преклонением перед вождем, религиозной верой, воинственным пылом, словом, эмоциями, от которых либерально настроенные интеллигенты отмахиваются бездумно, как от пережитка, искоренив этот пережиток в самих себе настолько, что ими утрачена всякая способность к действию.

Те, кто называет Гитлера Антихристом или, наоборот, святым, ближе к истине, нежели интеллектуалы, десять кошмарных лет утверждавшие, что это просто паяц из комической оперы, о котором нечего всерьез говорить. На поверку подобные настроения свидетельствуют лишь об изоляции, ставшей состоянием английской жизни. Книжный клуб левых, по существу, порождение Скотленд-Ярда, точно так же как Союз обета мира – порождение военного флота. Одной из примет последнего десятилетия стал статус серьезной литературы, который приобрела «политическая книга» – некий расширенный памфлет, сочетающий сведения по истории с критическими высказываниями о политике. Но даже самые заметные авторы таких книг – Троцкий, Раушнинг, Розенберг, Силоне, Боркенау, Кёстлер и другие – не были англичанами, и, кроме того, почти все они были отступниками, то есть отреклись от экстремизма партий, к которым прежде принадлежали, познакомившись с тоталитаризмом накоротке, испытав преследования и пережив изгнание. Лишь в англоязычных странах вплоть до начала войны было принято считать, что Гитлер – не заслуживающий внимания фанатик, а немецкие танки сделаны из картона. По цитируемым мною высказываниям Уэллса видно, что он и сегодня думает примерно так же. Вряд ли его мнения переменились ввиду бомбардировок или успехов немцев в Греции. Чтобы понять, в чем сила Гитлера, он должен был бы отказаться от образа мыслей, которого придерживался всю жизнь.

Подобно Диккенсу, Уэллс происходит из среднего класса, которому чуждо все военное. Его оставляют абсолютно бесстрастным гром пушек, звяканье шпор и проносимое по улицам боевое знамя, при виде которого у других перехватывает дыхание. Сражения, преследования, схватки – эта сторона жизни внушает ему глубочайшее отвращение, что выразилось во всех его ранних книгах яростными выпадами против любителей лошадей. Главный злодей в его «Историческом очерке» – Наполеон, искатель приключений на поле брани. Полистайте любую книгу Уэллса из написанных за последние сорок лет, и вы в ней обнаружите одну и ту же бесконечно повторяющуюся мысль:

человек науки, который, как предполагается, творит во имя разумного Всемирного государства, и реакционер, стремящийся реставрировать прошлое во всем его хаосе, – антиподы. Это противопоставление – постоянная линия в его романах, утопиях, эссе, сценариях, памфлетах. С одной стороны – наука, порядок, прогресс, интернационализм, аэропланы, сталь, бетон, гигиена; с другой – война, националистические страсти, религия, монархия, крестьяне, профессура древнегреческого, поэты, лошади. История в понимании Уэллса – это победа за победой, которые ученый одерживает над романтиком. Что же, Уэллс, вероятно, прав, полагая, что «разумное», плановое общество, где у руля будут ученые, а не шарлатаны, рано или поздно станет реальностью, но допускать это как перспективу вовсе не то же самое, что думать, будто такое общество возникнет со дня на день. Где-то должны отыскаться следы полемики Уэллса с Черчиллем, происходившей во время русской революции. Уэллс упрекает Черчилля в том, что тот сам не верит собственным пропагандистским заявлениям, будто большевики – это чудовища, утопающие в пролитой ими крови, и т. д.; просто Черчилля страшит, что большевики возвещают наступление эры здравого смысла и научного контроля, когда для охотников помахать жупелами – таких, как Черчилль, – не останется места. Но в действительности Черчилль судил о большевиках вернее, чем Уэллс. Возможно, первые большевики были чистыми ангелами или сущими дьяволами – это не так уж важно, – но разумными людьми их никак не назовешь. И тот порядок, который они вводили, был не утопией уэллсовского образца, а правлением избранных, представлявшим собой, подобно английскому правлению избранных, военную деспотию, подкрепленную процессами в духе «охоты на ведьм». То же непонимание сути дела сказалось в иной форме, когда Уэллс взялся судить о нацистах. Гитлер – это соединившиеся в одном лице агрессоры и шарлатаны, какие только известны из истории. А стало быть, рассуждает Уэллс, это абсурд, тень давнего прошлого, выродок, которому суждено стремительно исчезнуть. Увы, нельзя поставить знак равенства между наукой и здравым смыслом. Наглядным подтверждением этого служит аэроплан, которого так нетерпеливо ждали, видя в нем символ цивилизации; на деле он почти не используется, кроме как для сбрасывания бомб. Современная Германия продвинулась по пути науки куда дальше, чем Англия, но стала куда более варварской страной. Многое из того, во что верил и ради чего трудился Уэллс, материально осуществлено в нацистской Германии. Там порядок, планирование, наука, поощряемая государством, сталь, бетон, аэропланы – и все это поставлено на службу идеям,

подобающим каменному веку. Наука сражается на стороне предрассудка. Но Уэллс, само собой, не может этого принять. Ведь это противоречит мировоззрению, изложенному в его собственных книгах. Агрессоры и шарлатаны *должны быть* обречены, а идея Всемирного государства, каким его мыслит либерал прошлого столетия, чье сердце не забьется при звуке боевой трубы, *должна* восторжествовать. Если не принимать во внимание изменников и малодушных, Гитлер ни для кого *не должен* выглядеть как опасность. Его конечная победа означала бы невозможное возвращение истории вспять – вроде реставрации Якова II.

Впрочем, не становится ли отцеубийцей человек моего возраста (а мне тридцать восемь), посягнувший на авторитет Уэллса? Интеллигенты, родившиеся примерно в начале века, – в каком-то смысле уэллсовское творение. Можно спорить о степени влияния любого писателя, в особенности «популярного», чьи книги находят быстрый отзвук, но, на мой взгляд, из писавших, во всяком случае, по-английски, между 1900 и 1920 годами никто не повлиял на молодежь так сильно, как Уэллс. Все мы думали бы совсем иначе, если бы его не существовало, а значит, иным был бы и мир вокруг нас. Но дело в том, что как раз целенаправленная сосредоточенность и одностороннее воображение, которые придавали ему вид вдохновенного пророка в эдвардианский век, превращают его теперь в мелкого мыслителя, отставшего от времени. Когда Уэллс был молод, антитеза науки и реакции не выглядела ложной. Обществом управляли недалекие, редкостно банальные люди – алчные бизнесмены, тупые сквайры, епископы, политики, способные цитировать Горация, но слыхом не слыхавшие об алгебре. Наука почиталась несколько безнравственной, а религия была незыблемой. Казалось, что все эти вещи одного ряда – страсть к традициям, скудоумие, снобизм, патриотические восторги, предрассудки, поклонение войне; требовался кто-то способный выразить противоположный взгляд. На заре столетия подросток впадал в экстаз, открывая для себя Уэллса. Этот подросток жил среди педантов, святош, игроков в гольф. Будущие его работодатели помыкали им: «Не смей! Нельзя!» – родители изо всех сил старались уродовать его половое развитие, безмозглые учителя издевались, вдалбливая в него мертвую латынь, – и вдруг являлся этот чудесный человек, который мог рассказать о жизни на других планетах или на дне морей и твердо *знал*, что будущее предстанет вовсе не таким, как полагали респектабельные господа. Лет за десять или даже больше до того, как инженеры сумели построить аэропланы, Уэллс знал, что человек вскоре

сможет летать. А знал он это, оттого что сам *хотел* научиться летать и верил: исследования в данной области будут продолжаться. Но с другой стороны, в годы, когда я был мальчишкой и братья Райт все-таки подняли с земли машину, продержавшуюся в воздухе пятьдесят девять секунд, общественным мнением было: если бы Всевышнему угодно было, чтобы мы летали, Он бы снабдил нас крыльями. До 1914 года Уэллс был истинным пророком. Что касается материальных подробностей, его предвидение сбылось с удивительной точностью.

Однако он принадлежал девятнадцатому веку, а также народу и сословию, не любящим воевать, и поэтому для него осталась тайной огромная сила старого мира, олицетворением которого он видел тори, занятых лисьей охотой. Он не смог, да и сейчас не в состоянии понять, что национализм, религиозное исступление и феодальная верность знамени – факторы куда более могущественные, чем то, что сам он называл ясным умом. Детища темных столетий чеканным шагом двинулись в нашу эпоху, и если это призраки, то такие, которые требуют очень сильной магии, чтобы совладать с ними. Фашизм лучше всего поняли либо те, кто пострадал от него, либо сами наделенные чем-то родственным фашизму. Незатейливая книга вроде «Железной пяты», написанная тридцать с небольшим лет назад, содержит куда более верное пророчество будущего, чем «О дивный новый мир» или «Образ надвигающегося мира». Если искать среди современников Уэллса писателя, который мог бы явиться в отношении его необходимым коррективом, следует упомянуть Киплинга, отнюдь не безразличного к понятиям силы и воинской «славы». Киплинг понял бы, чем притягивает Гитлер или, раз на то пошло, Сталин, хотя трудно сказать, как бы он к ним отнесся. А Уэллс слишком благоразумен, чтобы постичь современный мир. Серия романов о нижнем слое среднего класса – они его высшее достижение – прекратилась с началом той первой войны и уже не была возобновлена, а с 1920 года Уэллс растрачивает свой талант, сражая бумажных драконов. Но как это прекрасно, когда есть что растрачивать!

*Август 1941 г.*

# Заметки о национализме

[10]

Байрон где-то употребляет французское слово *longueur*[11] и замечает мимоходом, что хотя в Англии у нас слова для этого нет, но обозначаемое им имеется в избытке. Подобным же образом, есть умонастроение, настолько сейчас распространенное, что влияет на наши мысли чуть ли не о каждом предмете, но все еще безымянное. В качестве ближайшего эквивалента я вы брал слово «национализм», но, как вскоре станет ясно, я употребляю его не совсем в обычном смысле – хотя бы потому, что чувства, о которых пойдет речь, не обязательно направлены на нацию, то есть на какой-то один народ и географическую область. Оно может быть связано с какой-то церковью или классом, а может и действовать всего лишь негативно, *против* чего-то, без всякой потребности в позитивном объекте.

Под национализмом я подразумеваю прежде всего привычку думать, что людей можно классифицировать как насекомых и что к целым группам людей, численностью в миллионы и десятки миллионов, можно с уверенностью прикрепить ярлык «хорошие» или «плохие»[12]. А во-вторых – и это еще важнее, – я понимаю под ним привычку отождествлять себя с нацией или другой группой, ставя ее выше добра и зла и не признавая другого долга, кроме защиты ее интересов. Национализм не надо путать с патриотизмом. Оба слова употребляются настолько свободно, что любое определение будет спорным, однако между ними надо проводить различие, поскольку заключены в них две разные и даже противоположные идеи. Под патриотизмом я понимаю преданность определенному месту и определенному образу жизни, который ты считаешь наилучшим, но не желаешь навязывать другим. Патриотизм по своей природе оборонителен – и в военном, и в культурном смысле. Национализм же неотделим от стремления к власти. Неизменная цель всякого националиста – больше власти и больше престижа, не для себя, а для нации или иной группы, в которой он растворил свою индивидуальность.

Пока речь идет о легко опознаваемых и стяжавших дурную славу националистических движениях в Германии, Японии и других странах, все это достаточно очевидно. Столкнувшись с таким явлением, как нацизм, который мы можем наблюдать извне, почти все отзовутся о нем одинаково. Но тут я должен повторить то, что сказал выше: я использую слово «национализм» лишь за неимением лучшего. В широком смысле, как я его

понимаю, национализм включает в себя такие движения и тенденции, как коммунизм, политический католицизм, сионизм, антисемитизм, троцкизм и пацифизм. Он не обязательно означает верность правительству или стране, тем более своей стране, и даже не совсем обязательно, чтобы реально существовала группа, к которой он тяготеет. Вот несколько очевидных примеров. Еврейство, ислам, христианский мир, пролетариат и белая раса – все объекты страстных националистических чувств; но в существовании их вполне можно усомниться, и ни для одного из них нет такого определения, которое устроило бы всех.

Стоит еще раз подчеркнуть, что националистическое чувство может быть чисто негативным. Есть, например, троцкисты, которые стали просто врагами СССР, но определенного объекта лояльности не имеют. Если понять вытекающие из этого следствия, природа того, что я подразумеваю под национализмом, станет гораздо яснее. Националист – это тот, кто мыслит исключительно или главным образом понятиями соперничества и престижа. Он может быть позитивным или негативным националистом – то есть может направить свою психическую энергию либо на возвышение, либо на очернение чего-то, – но в любом случае его мысли вращаются вокруг побед, поражений, триумфов и унижений. Историю, в особенности современную историю, он видит как беспрестанное возвышение или упадок каких-то могущественных сообществ, и всякое событие представляется ему доказательством того, что его сторона на подъеме, а какой-то ненавистный противник катится под уклон. Но важно не путать национализм с простым культом успеха. Националист не руководствуется принципом: примазаться к сильнейшей стороне. Наоборот, выбрав сторону, он убеждает себя, что она и есть сильнейшая, и способен держаться этого убеждения, даже когда все факты говорят об обратном. Национализм – жажда могущества, умеряемая самообманом. Каждый националист способен на самую вопиющую бесчестность, но, поскольку он сознательно служит чему-то большему себя, всегда непоколебимо уверен в своей правоте.

Теперь, когда я дал это пространное определение, мне кажется, можно утверждать, что умонастроение, о котором идет речь, весьма распространено среди английской интеллигенции и больше – среди нее, чем среди остального народа. Ибо для тех, кого волнует современная политика, некоторые темы настолько увязаны с соображениями престижа, что вполне рациональный подход к ним почти невозможен. Из сотен примеров, имеющихся в нашем распоряжении, возьмем такой вопрос: кто из трех союзников – СССР, Британия или США – сделал больше для

разгрома Германии? Теоретически на него можно было бы дать обоснованный и даже бесспорный ответ. На деле, однако, необходимых вы кладок сделать нельзя, ибо всякий, кто захочет поломать над этим вопросом голову, неизбежно будет рассматривать его в плане престижа. Поэтому он *сначала* решит его в пользу России, Британии или Америки и только *потом* станет подыскивать доводы, подтверждающие его мнение. И есть огромное множество подобных вопросов, на которые честный ответ можно получить лишь от того, кому вообще безразлична тема и чье мнение, по всей вероятности, ничего не будет стоить. Этим отчасти объясняется поразительная близорукость сегодняшних политических и военных предсказаний. Любопытно, что из всех «экспертов» независимо от школы не нашлось ни одного, который предвидел бы такое вероятное событие, как русско-германский пакт 1939 года[13], а когда о пакте стало известно, стали даваться самые разнообразные объяснения и предсказания, чуть ли не сразу опровергавшиеся событиями, поскольку основывались они почти всякий раз не на исследовании вероятностей, а на желании представить СССР хорошим или плохим, сильным или слабым. Политические и военные комментаторы, подобно астрологам, могут пережить без ущерба для себя любую ошибку, потому что их верные поклонники ждут от них не оценки фактов, а подогрева своих националистических чувств[14], и эстетические суждения, особенно литературные суждения, часто бывают искажены так же, как политические. Индийскому националисту трудно получать удовольствие от Киплинга, а консерватору – разглядеть достоинства в Маяковском: всегда есть искушение сказать, что книга, чье направление тебе не нравится, должна быть плохой в литературном отношении. Люди с националистическим мировоззрением часто совершают эту подтасовку, не сознавая своей нечестности.

В Англии, если брать в чисто количественном отношении, преобладающей формой национализма, вероятно, будет старорежимный британский джингоизм. Он, безусловно, еще распространен и гораздо шире распространен, чем полагало большинство наблюдателей лет десять назад. Однако в этой статье меня занимают главным образом реакции интеллигентов, среди которых джингоизм и даже патриотизм старого закала почти умерли, хотя сейчас, кажется, возрождаются у меньшинства. Среди интеллигенции (об этом, наверное, излишне говорить) преобладающей формой национализма является коммунизм – если использовать это слово в очень широком смысле, подразумевая под ним не только членов

коммунистической партии, но и «попутчиков», и русофилов вообще. Коммунистом я буду называть здесь того, кто видит в СССР свое Отечество и считает своим долгом оправдывать русскую политику и любой ценой отстаивать интересы России. Сегодня таких людей в Англии множество, их прямое и косвенное влияние очень сильно, но процветают и другие формы национализма, и, отмечая их общие черты, при всем несходстве и даже видимой противоположности разных течений мысли, мы лучше всего увидим проблему в целом.

Десять или двадцать лет назад формой национализма, наиболее соответствующей сегодняшнему коммунизму, был политический католицизм. Самым выдающимся его представителем – хотя это скорее крайний случай, чем типичный, – был Г. К. Честертон. Честертон, писатель незаурядного таланта, принес свое эстетическое чувство и свою интеллектуальную честность в жертву пропаганде католичества. В последние двадцать лет жизни все им написанное было, по существу, бесконечным повторением одной и той же мысли, под вымученной элегантностью простой и унылой, как «Велика Диана Ефесская». Каждая книжка, каждый абзац, каждая фраза, каждое происшествие в каждом рассказе, каждый обрывок диалога должен был недвусмысленно продемонстрировать превосходство католика над протестантом или язычником. Но Честертону мало было превосходства только интеллектуального или духовного: его надо было перевести на язык национального престижа и военной мощи, результатом чего явилась невежественная идеализация латинских стран, особенно Франции. Во Франции Честертон жил недолго, и изображаемая им картина страны, где католические крестьяне беспрестанно поют «Марсельезу», сидя за красным вином, имеет такое же отношение к действительности, как «Чу Чин Чао»[15] – к повседневной жизни Багдада. И сопутствует этому не только колоссальная переоценка французской военной мощи (и до, и после Первой мировой войны он утверждал, что Франция сильнее Германии), но и глупое, пошлое восхваление самого процесса войны. По сравнению с его военными стихотворениями, такими как «Лепанто» или «Баллада о святой Барбаре», «Атака легкой бригады» вы глядит как пацифистский трактат: это, наверное, самые безвкусные образчики ходульности из всего, что написано на нашем языке. И вот что интересно: если бы эта романтическая чепуха, которую он обычно писал о Франции и французской армии, была написана кем-то о Британии и британской армии, он первый высмеял бы ее. Во внутренней политике он был сторонником «малой Англии», настоящим врагом джингоизма и империализма, и, в своем понимании,

другом демократии. Но стоило ему выглянуть во внешний мир, он забывал свои принципы, даже не замечая этого. Так, его почти мистическая вера в достоинство демократии не мешала ему восхищаться Муссолини. Муссолини уничтожил представительную власть и свободу слова, за которую Честертон так упорно сражался дома, но Муссолини был итальянец, он сделал Италию сильной, и это решало дело. Ни одного плохого слова не сказал Честертон о покорении итальянцами и французами цветных народов, об их империализме. Чувство реальности, литературный вкус и даже в какой-то степени нравственное чувство тут же отказывали ему, как только в игру вступал его национализм. Очевидно, что есть существенное сходство между политическим католицизмом, ярким представителем которого был Честертон, и коммунизмом. А также между ними и, например, шотландским национализмом, сионизмом, антисемитизмом или троцкизмом. Сказать, что все формы национализма одинаковы, даже по духу, было бы чрезмерным упрощением, но есть черты, для всех них общие. Вот главные характеристики националистического мышления.

*Одержимость*. Насколько это вообще возможно, националист не думает, не говорит, не пишет ни о чем, кроме как о превосходстве своей группы. Для любого националиста трудно и даже невозможно скрыть свою ангажированность. Малейшее неуважение к его группе или подразумеваемая похвала соперничающей организации вызывают у него беспокойство, освободиться от которого он может, только дав резкую отповедь. Если объект его чувств – страна, например, Ирландия или Индия, он будет настаивать на ее превосходстве не только в военной силе и политическом устройстве, но и в искусстве, литературе, спорте, строении языка, физической красоте ее обитателей и, может быть, даже в климате, ландшафтах и кухне. Он весьма чувствителен к таким вещам, как правильное вывешивание флагов, относительный размер заголовков и порядок наименования стран[16]. В националистической мысли всякого рода наименования играют очень важную роль. Страны, завоевавшие независимость или пережившие националистическую революцию, обычно меняют свое название, и всякая страна или иное объединение, являющееся объектом сильных чувств, скорее всего будут иметь несколько названий, нагруженных разными смыслами. У двух сторон в гражданской войне в Испании было девять или десять названий, выражающих разные степени любви и ненависти. Некоторые из этих названий («патриоты» у сторонников Франко или «лоялисты» у сторонников правительства) явно были сомнительными, и ни одно из них обе

враждующие стороны не устраивало. Все националисты считают своим долгом распространять свой язык в противовес языкам «соперников»; среди англоязычных эта борьба выливается в более тонкие формы – в соперничество диалектов. Американец-англофоб не употребит жаргонной фразы, если знает, что она британского происхождения, а за конфликтом «латинизаторов» и «германизаторов» часто кроются националистические мотивы. Шотландские националисты доказывают превосходство жителей низменной Шотландии, а социалистов, чей национализм принял форму классовой ненависти, бесит произношение дикторов Би-би-си и даже открытое «а». Примеры можно множить. Часто кажется, что мышление националистов окрашено верой в симпатическую магию – проявляется это в распространенном обычае сжигать чучело политических врагов или использовать их изображения как мишени в тирах.

*Неустойчивость*. Напряженность националистических чувств не препятствует их переносу. Как я уже говорил, они могут быть и часто бывают направлены на какую-нибудь зарубежную страну. Это вполне обычное дело, что великие национальные лидеры или основатели националистических движений не уроженцы страны, которую они прославили. Иногда они просто иностранцы, но чаще являются с периферии, где национальность сомнительна. Примеры – Сталин, Гитлер, Наполеон, Де Валера, Дизраэли, Пуанкаре, Бивербрук. Пангерманизм – отчасти создание англичанина, Хаустона Чемберлена[17]. В последние 50–100 лет перенесенный национализм был обычным явлением среди литераторов. Для Лавкадио Сёрна центром притяжения была Япония[18], для Карлейля и многих его современников – Германия, а в наше время это обычно Россия. Но любопытно, что возможен и обратный перенос. Страна или иная группа, которую боготворили годами, внезапно может стать отвратительной, и ее место чуть ли не мгновенно может занять другой объект любви. В первом варианте «Очерка истории» и других работах того времени Г. Дж. Уэллс восхваляет Соединенные Штаты почти так же неумеренно, как коммунисты в наши дни – Россию; но через несколько лет это безграничное восхищение сменилось враждебностью. Фанатичный коммунист, за несколько недель или даже дней превратившийся в столь же фанатичного троцкиста, – обычное явление. В континентальной Европе фашистское движение сильно пополнялось коммунистами, но в ближайшие несколько лет процесс может смениться на обратный. Постоянным у националиста остается лишь состояние ума: объект привязанности меняется и может быть воображаемым.

А у интеллектуала перенос выполняет важную функцию, о

которой я кратко упомянул в связи с Честертоном. Перенос позволяет ему быть гораздо большим националистом – более вульгарным, более глупым, более злобным, более нечестным, – чем если бы объектом была родная страна или объединение, которое человек знает по-настоящему. Когда видишь раболепную или хвастливую чепуху, написанную довольно умными и чувствительными людьми, о Сталине, Красной армии и т. д., становится ясно, что в сознании произошел какой-то вывих. В обществах, подобных нашему, не часто бывает, чтобы человек, имеющий право называться интеллектуалом, испытывал очень сильную привязанность к своей стране. Ему не позволит этого общественное мнение – то есть та часть общественного мнения, к которой он как интеллектуал восприимчив. Его окружение в большинстве своем недовольно и настроено скептически, и он может усвоить это отношение из подражательности или чистой трусости; в этом случае он избегнет рядом лежащей формы национализма, ничуть не приблизившись к подлинно интернационалистскому мировоззрению. Он все равно ощущает потребность в Отечестве и, естественно, обращает взгляд за границу. Обретя искомое, он может необузданно предаваться тем самым чувствам, от которых, ему кажется, он освободился. Бог, король, империя, Юнион Джек – все свергнутые идолы восстанут вновь в другом обличье, и он, поскольку не признал их за таковых, может поклоняться им с чистой совестью. Перенесенный национализм, так же, как маневр с козлом отпущения, – это способ обрести спасение, не меняя дурных привычек.

*Безразличие к реальности.* Все националисты обладают способностью не видеть сходства между аналогичными рядами фактов. Британский тори будет защищать самоопределение в Европе и противиться самоопределению Индии, не осознавая своей непоследовательности. Действия оцениваются как хорошие или плохие не в соответствии с их характером, а соответственно тому, кто их осуществляет, и, наверное, нет такого безобразия – пытки, взятие заложников, принудительный труд, массовые депортации, тюремное заключение без суда, фальсификации, убийства, бомбардировка гражданского населения, – которое не меняло бы своего морального знака, будучи совершено «нашими». Либеральная «Ньюс кроникл» опубликовала как пример неслыханного варварства фотографии повешенных немцами русских, а спустя год или два – с горячим одобрением – почти такие же фотографии немцев, повешенных русскими[19]. То же самое с историческими событиями. Историю часто оценивают с националистических позиций: инквизиция, пытки, Звездная палата, дела английских пиратов (сэр Фрэнсис Дрейк, например,

любил топить испанских пленников), якобинский террор, сотни сипаев, расстрелянных из пушек после восстания, солдаты Кромвеля, резавшие лица ирландкам бритвами, – все это морально не квалифицировалось или даже считалось похвальным, когда служило «правому» делу. Если вспомнить прошедшую четверть столетия, окажется, что не проходило и года без того, чтобы из какой-нибудь части света не сообщали о зверствах. Однако ни в одном случае – будь то зверства в Испании, России, Китае, Венгрии, Мексике, Амритсаре или в Смирне – английская интеллигенция в целом не поверила в эти зверства и не осудила их. Достойны ли они осуждения, да и вообще, совершались ли – всегда решалось в соответствии с политическими пристрастиями.

Националист не только не осуждает зверств, совершенных его стороной, – он обладает замечательной способностью даже не слышать о них. Целых шесть лет английские поклонники Гитлера умудрялись не знать о существовании Дахау и Бухенвальда, а те, кто громче всех возмущается немецкими концлагерями, совсем не знают или почти ничего не знают о концлагерях в России. Колоссальные события вроде голода на Украине в 1933 году, унесшего миллионы жизней, ускользнули от внимания большинства английских русофилов. Многие англичане почти ничего не слышали об истреблении немецких и польских евреев во время нынешней войны. Из-за их собственного антисемитизма известия об этом ужасном преступлении отскакивают от их сознания. Для националистического сознания есть факты, одновременно истинные и ложные, известные и неизвестные. Известный факт может быть настолько невыносим, что его отодвигают от себя, не включают в логические процессы или же, наоборот, он может учитываться в каждом расчете, но фактом при этом не признаваться, даже когда человек остается наедине с собой.

Каждый националист живет с убеждением, что прошлое можно изменить. Часть времени он проводит в мире фантазий, где все происходит как должно, – где, например, Великая армада достигает цели, а русская революция подавлена в 1918 году, – и фрагменты этого мира он при всякой возможности переносит в книги по истории. Большая часть пропагандистских писаний в наше время – чистый подлог. Физические факты утаиваются, даты изменяются, цитаты изымаются из контекста и препарируются так, что меняют смысл. События, которым не надо было бы произойти, не упоминаются и в конечном счете отрицаются[20]. В 1927 году Чан Кайши живьем сварил сотни коммунистов, а через десять лет стал у левых героем. Из-за перегруппировки в мировой

политике он оказался в стане антифашистов, и решено поэтому, что варка коммунистов «не в счет» – или ее вообще не было. Первая цель пропаганды, конечно, – повлиять на мнение современников, но те, кто переписывает историю, вероятно, отчасти верят, что действительно вводят в прошлое факты. Когда присмотришься к старательно изготовленным подлогам, цель которых доказать, что Троцкий не играл важной роли в Гражданской войне, трудно представить себе, что авторы просто лгут. Скорее всего им кажется, что их версия и есть то, что видел сверху Бог, и они вправе отредактировать документы соответственно.

Равнодушию к объективной истине способствует разгороженность мира, из-за которой все труднее и труднее становится выяснить, что было на самом деле. Самые масштабные события – и те зачастую вызывают сомнения. Например, невозможно подсчитать с точностью до миллионов или даже десятков миллионов число погибших в нынешней войне. Бедствия, о которых сообщают то и дело – сражение, резня, голод, революция, – вызывают у обывателя ощущение нереальности. Нет возможности проверить факты, человек даже не вполне уверен, что они имели место, и разные источники всегда предлагают ему совершенно разные истолкования. Что было правильного и неправильного в варшавском восстании в августе 1944 года? Правду ли говорят о немецких газовых камерах в Польше? Кто был виновником голода в Бенгалии? Правду, вероятно, можно установить, но почти все газеты подавали факты так нечестно, что обыкновенному читателю можно простить и веру в вымыслы, и неспособность вообще составить какое-то мнение. Достоверной картины того, что происходит на самом деле, нет, и от этого легче держаться безумных убеждений. Поскольку ничто окончательно не доказано и не опровергнуто, самый несомненный факт можно бесстыдно отрицать. Кроме того, без конца размышляя о силе, победе, поражении, мести, националист зачастую не очень-то интересуется тем, что происходит в реальном мире. Нужно ему другое – ощущение, что его группа одерживает верх над какой-то другой, а ощутить это легче, срезав оппонента, нежели изучая факты, дабы выяснить, подтверждают ли они твою правоту. Вся националистическая полемика ведется на уровне клубных дискуссий. Она не приводит ни к какому результату, поскольку каждый диспутант неизменно считает себя победителем. Некоторые националисты недалеки от шизофрении – они живут в блаженных грезах о могуществе и завоеваниях, в полном отрыве от реального мира.

Я описал, как мог, склад ума, характерный для всех форм национализма. Теперь надо классифицировать эти формы, хотя исчерпывающей классификации дать нельзя. Национализм – необъятная тема. Человечество страдает бесчисленными иллюзиями и ненавистями, которые переплетаются самым сложным образом, причем некоторые из самых зловещих еще не внедрились в европейское сознание. В этой статье меня занимает тот национализм, который встречается среди английской интеллигенции. У нее гораздо чаще, чем у простых англичан, он существует без примеси патриотизма, и потому его можно изучать в чистом виде. Ниже перечислены с необходимыми пояснениями разновидности национализма, распространенные сегодня среди английской интеллигенции. Их удобнее разделить на три категории: позитивный, перенесенный и негативный национализм, хотя некоторые разновидности не подпадают ни под одну категорию.

## *Позитивный национализм*

*1. Неоторизм.* Он представлен такими людьми, как лорд Элтон, А. П. Герберт, Дж. М. Янг[21], профессор Пикторн, а также литературой Комитета тори за реформы и журналами «Нью инглиш ревью», «Найнтинс сенчури энд афтер». Подлинной движущей силой неоторизма, придающей ему националистический характер и отличающей его от обычного консерватизма, является нежелание признать, что британская мощь и влияние уменьшились. Даже те, у кого хватает трезвости понять, что военное положение Британии теперь не такое, как прежде, утверждают порой, что в мире должны господствовать «английские идеи» (не давая им обычно определения). Все неотори настроены против России, но иногда главный упор делается на антиамериканизме. Знаменательно в этом течении то, что оно приобретает популярность среди более молодых интеллектуалов, иногда бывших коммунистов, переживших обычную утрату иллюзий и потому разочаровавшихся в этом учении. Англофоб, внезапно превратившийся в яростного пробританца, – довольно обычная фигура. Это можно было наблюдать на Ф. Войте, Малколме Маггеридже, Ивлине Во, Хью Кингсмилле[22]; подобную психологическую эволюцию переживали Т. С. Элиот, Уиндем Льюис и разные их последователи.

*2. Кельтский национализм.* Валлийский, ирландский и шотландский национализм кое в чем отличаются, но их роднит

антианглийская ориентация. Участники этих трех движений были против войны, в то же время характеризуя себя как сторонников России, а наиболее оголтелые умудрялись быть одновременно и русофилами, и пронацистами. Но кельтский национализм не тождествен англофобии. Он движим верой в прошлое и будущее величие кельтских народов и сильно отдает расизмом. Считается, что кельт духовно превосходит англосакса – он непосредственнее, больше одарен творчески, менее вульгарен, меньший сноб и т. д., – но под этим все та же жажда могущества. Один из ее симптомов – иллюзия, будто Эйре, Шотландия и даже Уэльс могли бы сохранить независимость без посторонней помощи и ничем не обязаны британской защите. Типичные писатели этого направления – Хью Макдайармид и Шон О'Кейси. Ни один современный ирландский писатель, даже такого калибра, как Йейтс или Джойс, не вполне свободен от националистических настроений.

*3. Сионизм*. Он обладает всеми обычными чертами националистического движения, но американский вариант его кажется более горячим и зловредным, чем британский. Я отношу его к прямому, а не к перенесенному национализму потому, что он распространен почти исключительно среди самих евреев. В Англии по нескольким весьма разнородным причинам интеллигенция в палестинском вопросе большей частью поддерживает евреев, хотя и не слишком горячо. В Англии все люди доброй воли настроены проеврейски в том смысле, что осуждают нацистские гонения. Но настоящий еврейский национализм или вера в природное превосходство евреев у людей нееврейской национальности едва ли встречаются.

## *Перенесенный национализм*

*1. Коммунизм.*
*2. Политический католицизм.*
*3. Расовые предрассудки.*

Презрительное отношение к «туземцам» в Англии по большей части забыто, и разные псевдонаучные теории, настаивавшие на превосходстве белой расы, хождения не имеют[23]. Среди интеллигенции этот предрассудок существует только с обратным знаком – как вера в превосходство цветных рас. У английских интеллектуалов он встречается все чаще – и объясняется скорее мазохизмом и сексуальными разочарованиями, чем контактами с восточными и негритянскими националистическими движениями. Но даже у тех, кого вопрос цвета кожи не сильно волнует,

большую роль играет снобизм и подражательство. Чуть ли не каждый английский интеллектуал будет шокирован утверждением, что белая раса превосходит цветные, зато в противоположном утверждении он не усмотрит ничего возмутительного, даже если с ним не согласен. Националистической привязанности к цветным расам обычно сопутствует представление, будто у них богаче сексуальная жизнь, и существует целая негласная мифология насчет сексуальной одаренности негров.

*4. Классовое чувство*. Среди интеллектуалов из среднего и высшего класса встречается только в форме перенесенного – то есть как вера в превосходство пролетариата. И здесь на интеллигенцию сильнейшим образом влияет общественное мнение. Националистическая преданность пролетариату и самая жгучая теоретическая ненависть к буржуазии часто совмещаются с обычным снобизмом в повседневной жизни.

*5. Пацифизм*. Большинство пацифистов либо принадлежат к малозначительным религиозным сектам, либо это просто гуманисты, которые возражают против того, чтобы людей лишали жизни, и дальше этой мысли не идут. Но среди пацифистов-интеллектуалов есть меньшинство, у которого в подоплеке пацифизма – ненависть к западной демократии и преклонение перед тоталитаризмом. Пацифистская пропаганда обычно сводится к тезису, что одна сторона ничем не лучше другой, но если присмотреться к писаниям более молодых пацифистов, оказывается, что они не беспристрастны в осуждении обеих систем, а настроены против Британии и Соединенных Штатов. Больше того, как правило, они не осуждают насилие как таковое, а только насилие, используемое для обороны западных стран. Русских в отличие от британцев не винят за то, что они защищаются военными средствами, да и вообще пацифистская пропаганда этого толка избегает упоминания о России и Китае. Опять-таки, не говорится, что индийцы должны отказаться от насилия в своей борьбе с британцами. Пацифистская литература изобилует туманными заявлениями, в которых если и есть какой-то смысл, то только тот, что государственные деятели, подобные Гитлеру, предпочтительнее таких, как Черчилль, а насилие, пожалуй, извинительно, если оно достаточно жестокое. После падения Франции французские пацифисты, очутившись перед выбором, которого их английским единоверцам удалось избежать, по большей части перешли к нацистам, а в Англии некоторое количество людей состояло одновременно в Союзе обета мира и в Британском союзе фашистов. Пацифистские авторы восхваляли Карлейля, одного из интеллектуальных родоначальников

фашизма. В целом трудно отделаться от мысли, что в основе пацифизма, присущего определенной части интеллигенции, лежит преклонение перед силой и победительной жестокостью. Ошибкой было сфокусировать эту эмоцию на Гитлере, но всегда можно переориентироваться.

### *Негативный национализм*

*1. Англофобия*. Среди интеллигенции презрительное и слегка враждебное отношение к Британии более или менее обязательно, но во многих случаях это и потребность души. Во время войны это проявилось в пораженческих настроениях интеллигенции, сохранявшихся и тогда, когда давно было ясно, что державы оси победить не могут. Многие откровенно радовались, когда пал Сингапур или когда британцев вытеснили из Греции; удивляло нежелание верить хорошим известиям – например, об Эль-Аламейне или о числе немецких самолетов, уничтоженных в битве над Англией. Конечно, английские левые интеллектуалы не хотели, чтобы войну выиграла Германия или Япония, но многие испытывали некоторое удовольствие при виде унижения своей страны и хотели бы думать, что окончательная победа одержана благодаря России или, скажем, Америке, а не Британии. В международной политике многие интеллигенты руководствуются принципом, что любая группировка, поддерживаемая Британией, заведомо не права. В результате «просвещенное» мнение в большой своей части оказывается зеркальным отражением консервативной политики. Англофобия всегда может обернуться своей противоположностью; отсюда – довольно обычное перевоплощение: противник одной войны становится поборником следующей.

*2. Антисемитизм*. Сейчас он мало заметен, потому что нацистские преследования заставляют каждого мыслящего человека занять сторону евреев. Всякий более или менее образованный человек, слышавший слово «антисемитизм», утверждает, что непричастен к нему, а в литературу всякого рода антиеврейские высказывания стараются не пропустить. На самом деле антисемитизм, по-видимому, распространен даже среди интеллигенции, и всеобщий заговор молчания, вероятно, его обостряет. Ему подвержены и люди левых убеждений; на их позиции сказывается то, что троцкисты и анархисты – чаще всего евреи. Но более склонны к антисемитизму люди консервативных взглядов, подозревающие евреев в том, что они ослабляют моральный дух нации и разжижают ее культуру. Всегда готовы

впасть в антисемитизм – по крайней мере на какое-то время – неотори и политизированные католики.

*3. Троцкизм*. Этот термин употребляется расширенно, так что под него подпадают анархисты, социал-демократы и даже либералы. Я же обозначаю им здесь марксиста-доктринера, движимого в основном враждебностью к сталинскому режиму. С троцкизмом лучше знакомиться по малоупотребительным брошюрам или газетам вроде «Соушалист апил», чем по работам самого Троцкого, который отнюдь не был человеком одной идеи. Хотя в некоторых странах, например, в США, троцкизм способен привлечь изрядное количество последователей и превратиться в организованное движение со своим мелким фюрером, вдохновляющая идея его – по существу, отрицательная. Троцкист против Сталина так же, как коммунист – за него, и, подобно большинству коммунистов, он хочет не столько изменить внешний мир, сколько чувствовать, что сражение за престиж развивается в его пользу. В обоих случаях имеет место одинаковая фиксация на единственном предмете, одинаковая неспособность сформировать вполне рациональное мнение, основанное на фактах. Из-за того, что троцкисты повсюду – преследуемое меньшинство, и обычное обвинение против них – в сотрудничестве с фашистами – вполне ложно, создается впечатление, будто троцкизм интеллектуально и морально стоит выше коммунизма; но большую разницу между ними увидеть трудно. Типичные троцкисты в любом случае – бывшие коммунисты и к троцкизму не приходят иначе, как через одно из левых движений. Ни один коммунист, если он не привязан к партии многолетней привычкой, не застрахован от внезапного впадения в троцкизм. Обратный процесс наблюдается не так часто, хотя определенного объяснения этому нет.

Из приведенной классификации видно, что во многих случаях я преувеличивал, чрезмерно упрощал вопрос, делал необоснованные допущения и вовсе игнорировал существование обыкновенных, приличных мотивов. Это было неизбежно, потому что в данной статье я пытаюсь выделить и обозначить тенденции, которые существуют в нашем сознании и извращают наше мышление, хотя не обязательно проявляются в чистом виде и действуют непрерывно. Теперь пора подправить эту по необходимости упрощенную картину. Прежде всего мы не имеем права предполагать, что *каждый* – или хотя бы каждый интеллектуал – заражен национализмом. Во-вторых, национализм может быть ограниченным и непостоянным. Мыслящий человек может наполовину уверовать в привлекательную идею, понимая

при этом ее абсурдность, и может надолго выбрасывать ее из головы, возвращаясь к ней только под влиянием гнева или сентиментальности, – или же будучи уверен, что в эту минуту не затронут серьезный вопрос. В-третьих, к националистической идее можно прийти чистосердечно, из ненационалистических побуждений. В-четвертых, в одном человеке могут сосуществовать несколько видов национализма, даже взаимоисключающих.

Я все время говорил: «националист делает то», «националист делает это», используя для иллюстрации крайний, едва ли вменяемый тип националиста, у которого нет нейтральных зон в сознании и нет интереса к чему-либо, кроме борьбы за власть. На самом деле таких людей сколько угодно, но на них не стоило бы тратить порох. В жизни с лордом Элтоном, Д. Н. Приттом, с леди Хаустон, Эзрой Паундом, лордом Ванситтартом, отцом Коглином[24] и всем их унылым племенем надо бороться, но останавливаться на их умственных изъянах едва ли стоит. Мономания неинтересна, и то, что ни один националист фанатичного склада не способен написать книжку, которую стоило бы прочесть через несколько лет, само по себе производит определенный дезодорирующий эффект. Даже признав, что национализм восторжествовал не везде, что еще есть люди, чьи суждения не вполне подвластны страстям, мы никуда не уйдем от того факта, что важнейшие проблемы: Индия, Польша, Палестина, гражданская война в Испании, московские процессы, американские негры, русско-германский пакт – какую ни возьми – невозможно обсуждать (по крайней мере никогда не обсуждают) на уровне разума. Элтоны, Притты и Коглины, каждый из них – просто огромный рот, снова и снова изрыгающий одну и ту же ложь, и это, очевидно, – крайние случаи, но мы обманываем себя, если не осознаем, что можем стать похожими на них, когда теряем над собой контроль. Прозвучит не та нота, наступят на тот или иной мозоль, а мозоль может оказаться таким, о существовании которого до сих пор не подозревали, – и самый здравомыслящий, добродушный человек может превратиться в неистового фанатика, одержимого одним желанием – победить оппонента, – и безразличного к тому, сколько он будет при этом лгать и сколько совершит логических ошибок. Когда Ллойд Джордж, противник бурской войны, объявил в палате общин, что если сложить британские сводки, то буров убито больше, чем жило в стране, Артур Бальфур вскочил с криком: «Невежа!» Очень немногие застрахованы от подобных оплошностей. Негр, униженный белой женщиной, англичанин, в чьем присутствии американец поносит Англию, апологет католичества, которому напомнили о Великой армаде, отреагируют примерно таким же

образом. Стоит задеть националистический нерв, и куда-то деваются интеллектуальные приличия, меняется прошлое, отрицаются самые очевидные факты.

Если где-то в сознании сидит националистическая привязанность или ненависть, заведомо истинные факты могут стать неприемлемыми. Вот несколько примеров. Я перечислю пять типов националистов и против каждого поставлю факт, которого этот националист признать не может, даже втайне:

*Британский тори*. После этой войны могущество и престиж Британии уменьшатся.

*Коммунист*. Если бы не помощь Британии и Америки, Германия победила бы Россию.

*Ирландский националист*. Эйре может сохранять независимость только благодаря британской защите.

*Троцкист*. Сталинский режим устраивает русских.

*Пацифист*. Тот, кто «отказывается» от насилия, имеет такую возможность только потому, что другие совершают насилие ради него.

Все эти факты совершенно очевидны, пока в игру не вступают эмоции: но для названных персонажей они *непереносимы*, поэтому их надо отрицать и на отрицании строить ложные теории. Вернусь к поразительной беспомощности военных предсказаний в этой войне. Думаю, правильно будет сказать, что интеллигенция хуже оценивала ход военных действий, чем простой народ, и больше руководствовалась пристрастиями. Левые интеллигенты в массе своей верили, например, в 1940 году, что война проиграна, в 1942-м – что немцы захватят Египет, что японцев никогда не прогонят с захваченных территорий, что англо-американские бомбардировки не производят впечатления на немцев. Верили они в это потому, что ненависть к британскому правящему классу не позволяла им поверить в осуществимость британских планов. Нет такой глупости, в которую не уверовал бы человек под влиянием подобных эмоций. Например, мне сообщали по секрету, что американские войска прибыли в Европу не для того, чтобы сражаться с немцами, а для того, чтобы подавить английскую революцию. Чтобы поверить в нечто подобное, надо быть интеллектуалом: простой человек не может быть таким дураком. Когда Гитлер вторгся в Россию, чиновники министерства информации «в порядке справки» выдали предупреждение, что Россия может рухнуть через шесть недель. С другой стороны, коммунисты рассматривали каждую фазу войны как русскую победу, даже когда русские отступили почти к Каспийскому морю и потеряли несколько миллионов пленными. Нет нужды множить примеры. Суть в том, что как только в игру вступают страх,

ненависть, зависть и культ силы, сразу отказывает чувство реальности. И, как я уже говорил, утрачиваются представления о праведном и неправедном. Нет такого преступления – то есть вообще нет, – которое не прощалось бы, если его совершают «наши». Даже если это преступление нельзя отрицать, даже если известно, что точно такое же осуждалось в каком-то другом случае, даже если ум говорит, что оно не оправдано, – *чувство* не признает его неправедным. Когда говорит приверженность, жалость молчит.

Причины роста и распространения национализма – слишком обширный вопрос, и здесь не место его рассматривать. Достаточно сказать, что в тех формах, в каких он проявляется у английской интеллигенции, это – прямое отражение ужасных битв, происходящих во внешнем мире, и что причиной худших его безумств стал упадок патриотизма и религиозной веры. Если развивать эту мысль дальше, есть опасность дойти до некоего консерватизма или до политического квиетизма. Например, можно утверждать, и, по всей вероятности, даже справедливо, что патриотизм – прививка против национализма, что монархия предохраняет от диктатуры, а организованная религия – от суеверий. Или же можно доказывать, что непредвзятого взгляда на жизнь не бывает, что все верования и политические устремления одинаково чреваты ложью, глупостями и варварством, и это часто используется как довод против любого участия в политике. Я не принимаю этот довод хотя бы потому, что в современном мире ни один человек, причисляемый к интеллигентам, не может быть вне политики – в том смысле, что не может быть к ней безразличен. Я думаю, что в политике надо участвовать – понимая ее в широком смысле – и что предпочтения надо иметь: то есть надо осознавать, что одни цели объективно лучше других, даже если они достигаются такими же плохими средствами. Что же касается националистических пристрастий и ненавистей, то, нравится нам это или нет, большинство из нас от них не свободны. Можно ли избавиться от них, я не знаю, но уверен, что бороться с ними можно и что требуется тут, в сущности, *нравственное* усилие. Необходимо прежде всего разобраться в себе, разобраться в своих чувствах, а затем учитывать неизбежную свою предвзятость. Если вы ненавидите Россию и боитесь ее, если вы завидуете богатству и мощи Америки, если вы презираете евреев, если ощущаете свою неполноценность, сравнивая себя с британским правящим классом, вы не избавитесь от этих чувств просто путем размышлений. Но по крайней мере вы можете отдать себе в них отчет и не допустить, чтобы они искажали ваши мыслительные

процессы. Эмоциональные побуждения, которые неизбежны и, наверное, даже необходимы для политического действия, не должны препятствовать восприятию действительности. Но для этого, повторяю, требуется нравственное усилие, а современная английская литература, в той мере, в какой она откликается на главнейшие проблемы нашего времени, показывает, как мало среди нас людей, готовых его сделать.

*Май 1945 г.*

# Рецензия на книгу Юджина Лайонса «Командировка в утопию»

[25]

Чтобы понять всю меру нашей неосведомленности относительно того, что на самом деле происходит в СССР, попробуем перевести на язык английских реалий самое сенсационное российское событие последних двух лет – троцкистские процессы. Введем необходимые поправки, поменяем местами правых и левых и получим примерно следующее.

Мистер Уинстон Черчилль, высланный в Португалию, лелеет планы разрушения Британской империи и установления в Англии коммунистического строя. Пользуясь неограниченной денежной поддержкой русских, он сумел построить разветвленную черчеллистскую организацию, в которую входят члены парламента, директора фабрик, католические епископы и практически вся «Лига подснежника»[26]. Почти ежедневно вскрываются чудовищные акты вредительства – то подготовка к взрыву палаты лордов, то заражение ящуром королевских конюшен. Восемьдесят процентов стражников Тауэра разоблачены как агенты Коминтерна. Один из руководителей министерства почт нагло признался в хищении почтовых переводов на сумму в 5 миллионов фунтов, а также в оскорблении его величества путем подрисовывания на почтовых марках усов. В ходе семичасового допроса у мистера Нормана Биркетта лорд Наффилд[27] признался, что с 1920 года подстрекает к забастовкам на собственных заводах. Газетная хроника пестрит сообщениями о еще пятидесяти черчеллистах-овцекрадах, застреленных в Вестморленде, о хозяйке деревенской лавки в Котсволлских холмах, сосланной в Австралию за то, что обсасывала леденцы и клала их обратно в баночку. Между тем черчеллисты (или черчеллисты-хармсвортовцы[28], как их стали именовать после казни лорда Ротермира) продолжают твердить, что именно они являются истинными защитниками капитализма и что Чемберлен и его банда – не что иное, как переодетые большевики.

Всякий, кто следил за русскими процессами, поймет, что это – едва ли пародия. Возникает вопрос: могло ли произойти что-либо подобное в Англии? Очевидно, не могло. С нашей точки зрения, вся эта история невероятна не только как заговор, но и как оговор. Это просто мрачная тайна, из которой можно извлечь лишь один достоверный факт, тоже вполне зловещий: что здешние коммунисты считают это хорошей рекламой коммунизма.

Между тем правда о сталинском режиме, если бы мы могли до нее добраться, имеет первостепенное значение. Социализм это или особо отвратительная форма государственного капитализма? Все политические споры, которые последние два года отравляли жизнь, вращаются вокруг этого вопроса, хотя сам он по нескольким причинам редко выносится на передний план. Поехать в Россию трудно, а там провести сколько-нибудь тщательное расследование невозможно, и все свои соображения об этом предмете ты вынужден строить на книгах, которые либо безоглядно «за», либо столь же яростно «против», так что и от тех и от других за километр разит предвзятостью. Книга мистера Лайонса – определенно из категории «против», но производит впечатление более достоверной, чем большинство остальных. По манере его письма видно, что он не вульгарный пропагандист, и в качестве корреспондента агентства «Юнайтед пресс» он долго жил в России (1928–1934), будучи послан туда по рекомендации коммунистов. Как многие другие, отправившиеся в Россию с надеждой, он постепенно разочаровался, но в отличие от некоторых решил в конце концов рассказать о ней правду. Жаль, что всякую враждебную критику нынешнего русского режима склонны рассматривать как пропаганду *против социализма*; все социалисты это осознают, и это не способствует честной дискуссии.

Годы, проведенные мистером Лайонсом в России, были годами ужасных лишений, апогеем которых стал в 1933 году голод на Украине, где, по некоторым оценкам, от него умерло не менее трех миллионов людей. Теперь, после успешного завершения второй пятилетки, физические условия наверняка улучшились, но нет никаких оснований думать, что сильно изменилась общественная атмосфера. Система, которую описывает мистер Лайонс, судя по всему, мало отличается от фашизма. Вся реальная власть сосредоточена в руках двух или трех миллионов людей, у городского пролетариата – теоретически, наследника революции – отнято даже элементарное право на забастовку; а совсем недавно, с введением паспортной системы, он низведен до статуса почти крепостных. ГПУ повсюду, все живут в постоянном страхе преследования, свобода речи и печати подавлена до такой степени, которую нам трудно вообразить. Террор идет волнами – то «ликвидация» кулаков или нэпманов, то какой-то чудовищный государственный процесс, когда людей, просидевших месяцы или годы в тюрьме, вдруг вытаскивают в суд для невероятных признаний, а их дети пишут в газеты: «я отрекаюсь от моего отца как от троцкистской гадины». Тем временем невидимого Сталина восхваляют в словах,

которые заставили бы покраснеть Нерона. Такую – пространную и полную деталей – картину рисует мистер Лайонс, и я не думаю, что он искажает факты. Заметны, правда, признаки того, что его озлобило пережитое и увиденное, и мне кажется, что он, возможно, преувеличивает размеры недовольства в среде самих русских.

Однажды ему удалось проинтервьюировать Сталина, и тот показался ему человечным, простым и приятным. Стоит отметить, что то же самое говорил Г. Дж. Уэллс, и в кино по крайней мере у Сталина действительно приятное лицо. Но разве не известно также, что Аль Капоне был примернейшим мужем и отцом, а Джозефа Смита (топившего в ванне жен после свадьбы) искренне любила первая из семи жен, и он всегда возвращался к ней после очередного убийства?

*Июнь 1938 г.*

# Рецензия на книгу Ф. Дж. Шида «Коммунизм и человек»

[29]

Эта книга – опровержение марксистского социализма с католических позиций – замечательна своим благожелательным тоном. Она свободна от оскорбительных передержек, ныне обычных во всякой важной дискуссии, и честнее излагает идеологию марксизма и коммунизма, чем большинство марксистов – католическую идеологию. Если она не вполне удалась или по крайней мере не так интересна к концу, как в начале, то, вероятно, потому, что автор менее склонен следовать ходу собственных мыслей, чем ходу мыслей оппонентов. Коренное различие между христианином и коммунистом он верно усматривает в вопросе о личном бессмертии. Либо эта жизнь – подготовка к другой, в каковом случае самое важное – индивидуальная душа, либо загробной жизни нет, и в этом случае индивид – всего лишь заменяемая клетка в общем теле. Эти две теории непримиримы, и основанные на них политические и экономические системы неизбежно будут антагонистами.

Однако мистер Шид не склонен признать, что католическая позиция предполагает определенное согласие с нынешними несправедливостями общества. Он готов утверждать, что подлинно католическое общество будет содержать в себе большую часть того, к чему стремится социалист, – а это уже напоминает попытку усидеть на двух стульях.

Индивидуальное спасение предполагает свободу, для католических писателей всегда распространяющуюся на право частной собственности. Но на нынешней стадии промышленного развития право частной собственности означает право эксплуатировать и мучить миллионы ближних. Социалист поэтому возразит, что собственность можно защищать, только если ты более или менее безразличен к экономической справедливости.

Ответ католика на это не слишком убедителен. Не в том дело, что церковь смотрит сквозь пальцы на несправедливости капитализма, – наоборот. Мистер Шид справедливо замечает, что некоторые папы осуждали капиталистическую систему очень решительно и что социалисты об этом обычно забывают. Но в то же время церковь отказывается от единственного решения, которое позволит действительно все изменить. Частная собственность должна сохраниться, отношения наниматель – нанимаемый должны сохраниться, даже категории «богатые» и

«бедные» должны сохраниться, но должна быть справедливость и честное распределение. Другими словами, богатого не экспроприируют, ему только скажут, чтобы вел себя хорошо.

«[Церковь] не видит в людях прежде всего эксплуататоров и эксплуатируемых, а в эксплуататорах – людей, которых она обязана ниспровергнуть… с ее точки зрения богач, как грешник, есть предмет ее самой нежной заботы. Там, где другие видят сильного человека на вершине успеха, она видит бедную душу, которой грозит ад… Христос сказал ей [церкви], что душам богатых грозит особая опасность, а забота о душах – ее первый долг».

Возразить ему можно тем, что *на практике* это ничего не меняет. Богатого призывают к покаянию, но он никогда не кается. В этом плане капиталист-католик не отличается заметно от остальных.

Ясно, что любая экономическая система работала бы справедливо, если бы можно было рассчитывать на хорошее поведение людей, но долгий опыт показывает, что в вопросах собственности лишь ничтожное меньшинство людей будут вести себя лучше, чем их к тому принудят. Это не значит, что позиция католиков в вопросах собственности несостоятельна, но означает, что ее очень трудно совместить с экономической справедливостью. На практике принять католическую точку зрения – значит принять эксплуатацию, бедность, голод, войну и болезнь как часть естественного порядка вещей.

Представляется поэтому, что если католическая церковь желает восстановить свое духовное влияние, ей придется определить свою позицию более четко. Либо она изменит свое отношение к частной собственности, либо ясно скажет, что царство ее не от мира сего и что питание тел очень мало значит по сравнению со спасением душ. На самом деле нечто подобное она и говорит, но смущенно, поскольку не такой вести ждет от нее современный человек. В результате церковь уже не первый день находится в двусмысленном положении, символом которого может послужить тот факт, что папа почти одновременно осуждает капиталистическую систему и награждает генерала Франко.

А в общем это интересная книга, написанная просто и на редкость свободная от злобы и дешевого остроумия. Если бы все апологеты католичества были такими, как мистер Шид, врагов у церкви было бы меньше.

*27 января 1939 г.*

# Рецензия на книгу Франца Боркенау «Тоталитарный враг»

[30]

Хотя эта книга не лучшая у доктора Боркенау, содержащееся в ней исследование природы тоталитаризма заслуживает и даже требует того, чтобы ее прочло сейчас как можно больше народа. Мы не сможем бороться с фашизмом, если не хотим его понять, а этим грешны и левые, и правые – прежде всего потому, что не осмеливаются.

До русско-германского пакта и те и другие полагали, что нацистский режим нисколько не революционен. Национал-социализм считали просто разнуздавшимся капитализмом; Гитлер – марионетка, а Тиссен – кукловод, такова была официальная теория, проповедовавшаяся в брошюрах мистера Джона Стрейчи и молчаливо признанная газетой «Таймс». И твердолобые, и члены Клуба левой книги приняли ее целиком, будучи кровно заинтересованы в игнорировании реальных фактов. Имущие классы, естественно, желали верить, что Гитлер защитит их от большевизма, а социалистам была непереносима мысль, что человек, истребивший их товарищей, сам социалист. Отсюда неистовые усилия с обеих сторон замазать все более очевидное сходство между немецким и русским режимами. Наконец, пакт между Гитлером и Сталиным открывает нам глаза. И тут отбросы человечества и кровавый палач рабочих (ибо так они характеризуют друг друга) шагают рука об руку, их дружба «скреплена кровью», как радостно выражается Сталин. Тезис Стрейчи и твердолобых оказался несостоятельным. Национал-социализм – действительно форма социализма, подчеркнуто революционная, действительно давит собственника так же, как рабочего. Два режима, начавшие с противоположных концов, стремительно перерастают в одну и ту же систему – некий олигархический коллективизм. И в данный момент, как указывает доктор Боркенау, Германия движется в сторону России, а не наоборот. Поэтому нелепо говорить о том, что если падет Гитлер, Германия «станет большевистской». Германия становится большевистской *благодаря* Гитлеру, а не вопреки ему.

Вопрос заключается не столько в том, как нацисты станут спасать мир от большевизма и в итоге сделаются большевиками, сколько в том, как они могут сделать это, не утратив силы или уверенности в себе. Доктор Боркенау называет две причины – экономическую и психологическую. В соответствии с первой целью нацистов было превратить Германию в военную машину,

подчинив этой цели все остальное. Но страна, особенно бедная страна, которая ведет «тотальную» войну или готовится к ней, должна быть в каком-то смысле социалистической. Когда государство полностью берет под свой контроль промышленность, так называемый капиталист низводится до положения управляющего, и когда потребительские товары в дефиците или строго нормируются, так что, даже получая большой доход, вы не можете его истратить, тогда вы имеете, по существу, сложившуюся структуру социализма плюс некомфортное равенство военного коммунизма. В погоне за военной эффективностью нацисты экспроприировали и устраняли тех самых людей, которых намеревались спасать. Это их не волновало, потому что их целью была просто власть, а не какая-то особая форма общества. Они готовы быть хоть красными, хоть белыми, лишь бы остаться наверху. Если первый шаг – разгромить социалистов под шум антимарксистских лозунгов – отлично, громи социалистов. Если следующий шаг – разгромить капиталистов под шум марксистских лозунгов – отлично, громи капиталистов. Это борьба без правил, единственное правило – победить. Россия с 1928 года демонстрирует точно такие же повороты в политике при неизменном стремлении правящей клики удержаться у власти. Что касается кампаний ненависти, беспрестанно разжигаемых тоталитарными режимами, они вполне реальны, пока длятся, но каждый раз продиктованы потребностями момента. Евреи, поляки, троцкисты, англичане, французы, чехи, демократы, фашисты, марксисты – кто угодно может оказаться Врагом Общества номер один. Ненависть можно обратить в любом направлении по первому знаку, как огонь паяльной лампы.

Рассуждая о стратегических аспектах войны, доктор Боркенау не так убедителен. Он слишком оптимистически оценивает возможную позицию Италии, возможные военные последствия русско-германского пакта, солидарность внутри нашей страны и, самое главное, способность нынешнего правительства выиграть войну и выиграть мир. В принципе он понимает – и говорит об этом, – что нам надо навести порядок дома: противопоставить более гуманную, более свободную форму коллективизма варианту, основанному на чистках и цензуре. Мы можем сделать это быстро, почти без труда, но только наивный глаз увидит такую способность у нынешнего правительства.

Я надеюсь, что доктор Боркенау напишет на ту же тему более пространную и более хорошую книгу. Эта же, несмотря на некоторые блестящие куски, кажется написанной наспех и неудачно организованной. Тем не менее доктор Боркенау – один

из самых ценных подарков, преподнесенных Англии Гитлером. Сегодня, когда чуть ли не все книги о современной политике начинены ложью и глупостью или и тем и другим, его голос – один из немногих трезвых у нас, и пусть он звучит подольше.

*4 мая 1940 г.*

# Рецензия на книгу Уинстона Черчилля «Их самый славный час»

[31]

Государственному деятелю, у которого еще есть политическое будущее, трудно обнародовать все, что он знает; а в профессии, где в пятьдесят лет ты младенец и в семьдесят пять – человек средних лет, естественно, что всякий, кто явно не опозорен, должен думать, что у него еще есть будущее. Книга, подобная дневникам Чиано[32], например, не была бы опубликована, если бы к ее автору относились с уважением. Но надо отдать должное Уинстону Черчиллю: политические мемуары, которые он время от времени публиковал, всегда были много выше среднего уровня, как по откровенности, так и по литературным достоинствам. Черчилль, среди прочего, журналист – с подлинным, хотя и не выдающимся литературным чутьем; кроме того, у него беспокойный пытливый ум, он интересуется и конкретными фактами, и анализом мотивов, в том числе и своих собственных. Вообще о его произведениях можно сказать, что они написаны скорее просто человеком, чем государственным лицом. В этой его книге, конечно, есть куски, как будто залетевшие из предвыборных речей, но вместе с тем видна и готовность признать свои ошибки.

Этот том мемуаров, второй по счету, охватывает период от начала немецкого наступления на Францию и до конца 1940 года, поэтому главные события в нем – падение Франции, немецкие воздушные налеты на Британию, постепенное вовлечение в войну Соединенных Штатов, расширение подводной войны и начало долгой схватки за Северную Африку. Книга обильно документирована, с отрывками речей и донесений на каждом этапе; это приводит к многочисленным повторам, но позволяет сравнить то, что говорилось и думалось, с тем, что на самом деле происходило. По его собственному признанию, Черчилль недооценил важность недавних перемен в методах войны, но в 1940 году, когда разразилась гроза, отреагировал быстро. К великой чести его, он понял еще во время Дюнкерка, что Франция побеждена, а Британия, несмотря на все внешние признаки, – нет, и этот последний вывод продиктован был не просто природной драчливостью, а трезвой оценкой ситуации.

Быстро победить в войне немцы могли только одним способом – захватив Британские острова, а чтобы захватить Британские острова, им надо было туда попасть, а для этого – получить господство в Ла-Манше. Поэтому Черчилль упорно

отказывался бросить всю авиацию метрополии в битву за Францию. Это было суровое решение, естественно, встреченное с горечью и, возможно, ослабившее позиции Рейно в его противостоянии с пораженцами во французском правительстве; но оно было стратегически верным. Двадцать пять эскадрилий истребителей, считавшиеся необходимыми, оставались в Британии, и угроза вторжения миновала. Задолго до конца года опасность его уменьшилась настолько, что артиллерия, танки и пехота были переброшены из Британии на египетский фронт. Немцы еще могли задушить Британию с помощью подводных лодок или воздушных налетов, но это отняло бы несколько лет, а тем временем в войну наверняка вступили бы другие страны.

Черчилль знал, конечно, что Соединенные Штаты рано или поздно вступят в войну; но на этом этапе, по-видимому, не ожидал, что в Европу когда-то прибудут миллионы американских солдат. Еще в 1940 году он предвидел, что немцы могут напасть на Россию, и правильно рассчитал, что Франко, несмотря на все свои обещания, не вступит в войну на стороне Оси. Он понял, как важно вооружить палестинских евреев и подтолкнуть к восстанию Абиссинию. Если проницательность отказывала ему, то потому главным образом, что он не делал никаких различий в своей ненависти к «большевизму». Показательно в этом смысле его признание, что, отправляя послом в Москву сэра Стаффорда Криппса, он не понимал, что коммунисты ненавидят социалистов больше, чем консерваторов. До прихода к власти лейбористов в 1945 году этого простого факта не понимал, кажется, ни кто из британских консерваторов, чем объясняется отчасти и ошибочная политика Британии во время испанской гражданской войны. Отношение Черчилля к Муссолини, хотя оно, вероятно, не повлияло на ход событий в 1940 году, тоже основывалось на неверной оценке. В прошлом он приветствовал Муссолини как «борца против большевизма» и принадлежал к числу тех, кто верил в возможность оторвать Италию от Оси с помощью подкупа. Он откровенно говорил, что никогда не поссорился бы с Муссолини из-за такого дела, как война с Абиссинией. Когда Италия вступила в мировую войну, Черчилль с ней, конечно, не церемонился, но общая ситуация была бы лучше, если бы британские тори за десять лет до этого поняли, что итальянский фашизм не какая-то разновидность консерватизма, а сила, по природе враждебная Британии.

Одна из самых интересных глав в «Их самом славном часе» посвящена обмену баз в британской Вест-Индии на американские эсминцы. Переписка Черчилля с Рузвельтом – своего рода комментарий к демократической политике. Рузвельт понимал,

что дать Британии эсминцы – в американских интересах, а Черчилль понимал, что для Британии будут не потерей, а подспорьем американские базы в Вест-Индии. Тем не менее, помимо юридических и конституционных трудностей, невозможно было просто отдать корабли, без препирательств. Впереди у Рузвельта были выборы, и, имея в виду изоляционистов, он вынужден был создать видимость упорной торговли. Он вынужден был, кроме того, потребовать гарантий, что если даже Британия проиграет войну, ее флот ни при каких обстоятельствах не будет передан немцам. Условие это было, конечно, бессмысленным. Ясно было, что Черчилль ни в коем случае не отдаст флота; но, с другой стороны, если бы немцам удалось оккупировать Британию, они поставили бы марионеточное правительство, за действия которого Черчилль отвечать не мог. Поэтому он не мог дать и требуемых гарантий, и торговля затянулась. Проще всего было бы заручиться обещанием всего британского народа, включая экипажи кораблей. Но Черчилль, как ни странно, не захотел обнародовать факты. Было бы опасно, говорит он, признаться в том, как близка Британия к поражению, – и это, возможно, единственный случай за весь описываемый период, когда он недооценил моральный дух народа.

Книга заканчивается темной зимой 1940 года, когда неожиданные победы в пустыне, с громадным количеством итальянских пленных, заслонены были бомбардировками Лондона и увеличившимися потерями флота. Во время чтения то и дело возникает в голове неизбежный вопрос: «Насколько свободно позволяет себе говорить Черчилль?» Ибо самое интересное в мемуарах Черчилля придет позже, когда он расскажет нам (если решил рассказать), что на самом деле случилось в Тегеране и Ялте и была ли им одобрена выработанная там политика или ее навязал ему Рузвельт. Но в любом случае тон этой и предыдущей книг позволяет думать, что когда настанет время, он откроет нам больше правды, чем открыл до сих пор.

Если и был 1940 год чьим-то самым славным часом, то уж точно Черчилля. С ним можно сколько угодно не соглашаться и сколько угодно быть благодарным ему за то, что его партия не победила на выборах 1945 года, но он заслуживает восхищения не только своей храбростью, но и определенным великодушием и веселостью, которые сквозят даже в этих официальных мемуарах, гораздо менее личных, чем книга «Мои ранние годы». Британцы в общем отвергли его политику, но он им всегда нравился, как можно судить по тону историй, сопровождавших его почти всю

жизнь. Многие из них, конечно, апокрифы, иногда и непечатные, но знаменателен сам факт их хождения. Например, во время эвакуации Дюнкерка, когда Черчилль произнес свою часто цитируемую боевую речь, ходили слухи, что на самом деле, записывая ее для радио, он сказал: «Мы будем драться на пляжах, мы будем драться на улицах… мы будем бросать бутылки в этих сук, кроме бутылок, у нас мало чего осталось», – но студийный цензор на Би-би-си во время нажал на клавишу. Можно думать, что эта история вымышленная, но в то время казалось, что она должна быть правдой. Это была заслуженная дань простых людей крутому и веселому старому человеку, которого они не приняли как руководителя в мирное время, но в час катастрофы видели в нем своего представителя.

*Май 1949 г.*

**notes**

# Примечания

# 1

© Перевод. В. Голышев, 2010.

Это предисловие написано для издания, которое распространялось украинской организацией перемещенных лиц в Мюнхене.

# 2

Здесь и далее по тексту «Скотного Двора» перевод стихов В. Корнилова.

# З

Остроумие, шутка *(фр.)*.

© Перевод. А. Зверев, 2010.

© Перевод. А. Зверев, 2010.

© Перевод. И. Левидова, наследники, 2010.

## 7

Физическая деградация населения, которую, как утверждает Свифт, он наблюдал повсюду, могла быть в то время реальным фактом. Одной из причин ее он считает сифилис, который был тогда в Европе новым явлением и, возможно, носил более жестокие и опасные формы, чем теперь. Новинкой в семнадцатом веке были также спиртные напитки, и это обстоятельство могло вызвать резкое усиление пьянства. – *Примеч. авт.*

## 8

В финале «Путешествий» в качестве типичных образчиков глупости и порочности человека Свифт называет «…судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможу, игрока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, соблазнителя, стряпчего, предателя и им подобных». Здесь звучит не знающая удержу ярость человека, лишенного власти. В одну кучу свалены и разрушители, и охранители порядка и права. Если, скажем, надо осудить полковника за то, что он – полковник, то на каких основаниях можно судить предателя? Стремясь покончить с воровством, надо опираться на законы, а следовательно, надо иметь юристов. Но весь этот финальный пассаж, столь сильно пропитанный ненавистью и столь слабо аргументированный, как-то не убеждает читателя. Чувствуется, здесь дана воля личному озлоблению. – *Примеч. авт.*

# 9

© Перевод. А. Зверев, 2010.

© Перевод. В. Голышев, 2010.

# 11

Здесь приблизительно: «неясное томление».

# 12

О нациях и даже о еще более неопределенных совокупностях, таких, как католическая церковь или пролетариат, принято думать как об индивидуумах. В любой газете встречаешь явно абсурдные высказывания типа: «Германия по природе своей вероломна». А безответственные обобщения касательно национального характера («Испанец – прирожденный аристократ» или «Все англичане – лицемеры») слышишь чуть ли не от каждого. Время от времени жизнь наглядно показывает, что эти обобщения безосновательны, но привычка к ним сохраняется, и грешат этим даже люди явно интернационалистических взглядов, например, Толстой и Бернард Шоу. – *Примеч. авт.*

## 13

Некоторые авторы консервативного направления, такие как Питер Дракер, предсказывали соглашение между Германией и Россией, но ожидали настоящего долговременного союза или слияния. Ни марксисты, ни другие левые писатели какой бы то ни было окраски даже не задумались о возможности такого пакта. – *Примеч. авт.*

# 14

Военных комментаторов в популярной прессе можно подразделить на пророссийских и антироссийских, поклонников старозаветной английской военщины и противников. Такие ошибки, как вера в непреодолимость линии Мажино или предсказание, что Россия завоюет Гер манию за три месяца, не поколебали их репутации, ибо эти люди всегда говорят то, что хочет услышать их аудитория. Два военных критика, наиболее ценимых интеллигенцией, – капитан Лиддел Гарт и генерал-майор Фуллер; первый учит, что оборона сильнее наступления, второй – что наступление сильнее обороны. Это противоречие не помешало им обоим считаться признанными теоретиками у одной и той же публики. Истинная причина моды на них в левых кругах – та, что оба не в ладах с военным министерством. – *Примеч. авт.*

## 15

Мюзикл 1916 г. по мотивам «Али-бабы и сорока разбойников».

# 16

Некоторые американцы выражали недовольство принятым сочетанием «англо-американский», предлагали заменить его на «американо-британский». – *Примеч. авт.*

## 17

*Хаустон Чемберлен* (1855–1927) – англичанин, немецкий писатель. Один из первых нацистских расовых теоретиков.

## 18

*Лавкадио Сёрн* (1850–1904) – английский писатель и журналист греко-ирландского происхождения, натурализовался в Японии.

# 19

«Ньюс кроникл» советовала читателям посмотреть кинохронику, где казнь была заснята полностью, крупным планом. «Стар», также с одобрением, напечатала фотографии почти голых коллаборационисток, преследуемых парижской толпой. Эти фотографии весьма напоминали нацистские фотографии евреев, над которыми издевалась берлинская толпа. – *Примеч. авт.*

# 20

Пример – русско-германский пакт, который стирают из сознания публики со всей возможной быстротой. Русский корреспондент сообщает мне, что пакт уже не упоминается в русских ежегодниках со сводками последних политических событий. – *Примеч. авт.*

# 21

*Годфри Элтон* (1892–1973) – английский биограф и поэт. *Джордж Малколм Янг* (1882–1959) – английский политолог.

# 22

*Хью Кингсмилл* (1889–1949) – английский романист, биограф, критик.

# 23

Хороший пример – предрассудок касательно солнечного удара. До последнего времени считалось, что белые более подвержены солнечному удару, чем цветные, и что белому небезопасно ходить под южным солнцем без тропического шлема. Никаких свидетельств в пользу этой теории нет, но она подчеркивала разницу между «туземцами» и европейцами. В ходе нынешней войны теорию благополучно забыли, и целые армии передвигаются без тропических шлемов. Пока этот пред рассудок существовал, английские врачи в Индии верили в него так же твердо, как все прочие. – *Примеч. авт.*

# 24

*Роберт Ванситтарт* (1881–1957) – английский дипломат и писатель. *Чарльз Коглин* (1891–1979) – американский католический священник, радиопроповедник, издатель.

© Перевод. В. Голышев, 2010.

*Primrose League* – политическая организация консерваторов.

# 27

*Норман Биркетт* – английский юрист, дважды – член парламента от либеральной партии, лорд-судья по апелляциям. Участвовал в составлении приговоров на Нюрнбергском процессе. Виконт *Наффилд (Уильям Моррис)* – английский промышленник и филантроп, глава автомобильной компании «Моррис моторс лимитед».

# 28

*Гарольд Хармсворт*, первый виконт Ротермир, – английский издатель и политик.

© Перевод. В. Голышев, 2010.

© Перевод. В. Голышев, 2010.

*Франц Боркенау* (1900–1957) – немецкий социолог и политолог.

© Перевод. В. Голышев, 2010.

# 32

Галеаццо Чиано – министр иностранных дел Италии (1936–1943). В 1944 году казнен по приговору фашистского суда как изменник. Его дневники были опубликованы в США в 1945 году.